

ლიტერატურა

გ რ უ ჯ ი ა

11

1977

Здравствуй,

ЭЛМ369-41
2182-ПР101935

ГОД

1977-й

— ГОД

60-летия

Великого

Октября!

С Новым годом!

Сандро ШАНШАШВИЛИ

Мравалжамьер!

Дождлся я: десятой пятилетки
открыта настужь золотая дверь,
Страна моя, цветы и дальше крепни,
да будешь ты незыблема как твердь.
Для пастбищ всех земель не хватит
скоро—
так выросли твои стада теперь,
И урожая разливное море спит в
закромах.

Да будет так и впредь!

Как ярко светит солнце трудовое,
верши свой путь и в будущее верь.
Веселье в круг! — Вином набухли грозди.
Тебе во славу песня, мой народ.
За труд и за успех поднимем тосты —
я славлю наступивший Новый год.

Я поздравляю кормчих нашей власти
и тех, кто крепит нерушимый свод,
Мост братской дружбы и счастливой
жизни,
тебя, рабочий, летчик, инженер,
Вас, верных стражей рубежей Отчизны,
и наших вечно мудрых матерей,
Я поздравляю пламенно и нежно
всех молодых — сынов и дочерей.
И в буднях трудовых, и в стольном

пире
ты, мой народ, всем подаешь пример!
Так здравствуйте и пребывайте в силе,
друзья мои, пой «Мравалжамьер»!

Перевод Виктории КОЛОБОВОЙ

Литературная Грузия

Ежемесячный
литературно - художественный
и
общественно-политический
журнал



Орган Союза писателей Грузии

11

ЯНВАРЬ

19 ИЗДАТЕЛЬСТВО 77
ЦК КП ГРУЗИИ



«ლიტერატურნაია გრუზია» ქართული წიგლიერთა კავშირები

(რუსულ ენაზე)

ქოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შუბრნალი

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან № 1 იანვარი 1977 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



*Издается
с июня 1957 года*

Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

- Тенгиз БУАЧИДЗЕ,
- Гиви ЖВАНИЯ,
- Марк ЗЛАТКИН,
- Исидор КОЗАЕВ,
- Георгий ЛОМИДЗЕ,
- Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
- Владимир МАЧАВАРИАНИ,
- Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,
- Гурам ХАРАИДЗЕ
(заместитель главного редактора),
- Владимир ХОМУТОВ
(ответственный секретарь),
- Эммануил ФЕЙГИН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

380008, ТВИЛИСИ, ул. ЛЕНИНА, 5.

- Приемная — 99-06-59
- Главный редактор — 93-65-15
- Заместитель главного редактора — 93-13-57
- Ответственный секретарь — 93-31-28

ОТДЕЛЫ

- Отдел прозы и очерка
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) — 93-31-43
- Отдел поэзии и искусства
(редактор ЗИНИНА В. В.) — 93-31-43
- Отдел критики и публицистики
(редактор ДОВРОДЕЕВА Л. Т.) — 93-65-18



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

Содержание

საქართველოს
საბავშვო ლიტერატურა

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 4

К 80-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ТИХОНОВА

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. На родине героя. Размышления на Мтацминде	5
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Вершина любви и признательности	7
ИРАКЛИИ АБАШИДЗЕ. Друг и брат моей Грузии	9
ГЕОРГИИ ДЖИБЛАДЗЕ. «Вот он, Тихонов, таков, как он есть...»	10
САНДРО ШАНШИАШВИЛИ. Мне дорога память о наших встречах	11
ВЛАДИСЛАВ ШОШИН. Крылатого гонит коня...	12
ДЕМНА ШЕНГЕЛАЯ. Многие лета!	13
РЕВАЗ МАРГИАНИ. Наш Тихонов	13
ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ. Страница воспоминаний	14
ВЛАДИМИР АЛПЕНИДЗЕ. Под знаменем интернационализма	16
СЛОВО ДРУГА	20

ПОЭЗИЯ

ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ. Применение. Тополы в снегу. Ты ждешь? Утешение. «Вино туманно-голубое...». «Сугроб нарциссов и фиалок...». Перевод Владимира Леоновича. Старые жернова. Перевод Даниила Джанашивили. Горы Гурии. Перевод Михаила Синельникова. Белый пеликан. Перевод Ирэнны Сергеевой. «Легли у порога нечистые силы...». Перевод Лидии Люблинской. Который час? Перевод Гины Челидзе. Роза на песке. Перевод Паолы Урушадзе. Ветер Перевод Зуроба Габуния	25
--	----

ПРОЗА

ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. Тбилиси, предвечернее небо. Повесть	27
--	----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ГУРАМ БАТИАШВИЛИ. О том, как Зеснахе становится личностью	79
---	----

НАУКА

ШОТА ДЗИДЗИГУРИ. Баски и грузины	86
----------------------------------	----

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

ИОСИФ МЕГРЕЛИДЗЕ. Словарь грузинского фольклора «ПЕРЕВАЛ», «ПТИЦА РАЗДУМЬЯ», «ИХ ОДНИМ ЧЕКАНИЛИ ЧЕКАНОМ»	95
--	----

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ПРОШЕЛ 1976 год, оставив глубокий след в жизни нашего народа, всей нашей Родины. Самоотверженным трудом, эффективностью производства и радостью побед был наполнен прошедший год — и такие годы не забываются.

Сколько в 1976-м было значительных, памятных событий! Достаточно назвать только великий Двадцать Пятый форум коммунистов Советского Союза, съезд коммунистов нашей республики! Прошедший год памятен нашему народу также историческим документом, в котором была дана высокая оценка беззаветному труду трудящихся республики и их авангарда — Коммунистической партии Грузии. Это всенародное признание открыло наш народ, придало ему большие силы в достижении новых побед.

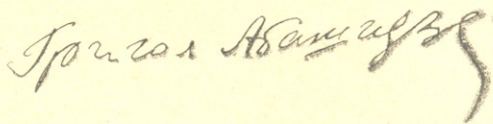
Грузинскими писателями в прошедшем году также достигнуто немало. Их успехи и свершения были отмечены партией и правительством, и художники слова Грузии, чувствуя заботу любимого народа и Коммунистической партии, делали все для того, чтоб их голос по-прежнему мощно звучал в едином оркестре многонациональной советской литературы.

В 1976 году у грузинских писателей и у всей грузинской культуры было немало значительных событий. Я имею в виду широко отмеченный нашей республикой юбилей «Деда эна», столетие со дня рождения Иванэ Джавахишвили, открытие памятника поэту Николозу Бараташвили...

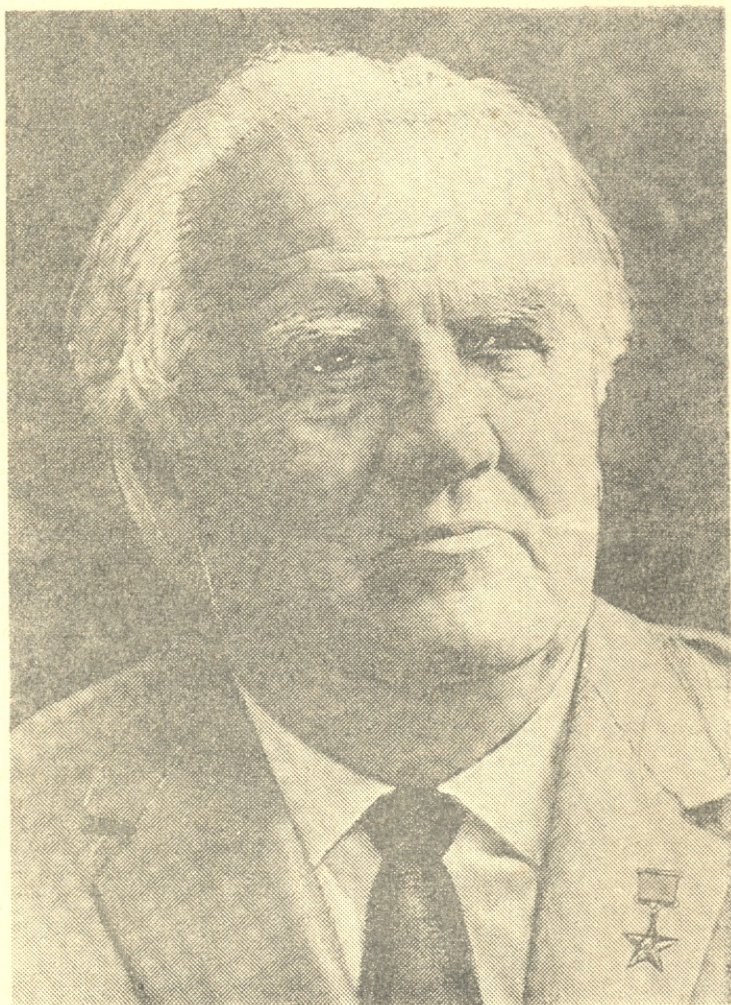
Не забываем мы и о своем интернациональном долге, и мы были свидетелями того, какую большую работу проводило руководство республики в этой области, столь необходимой для духовной жизни всего нашего народа.

Новый год полон новых надежд и уверенности в новых победах. Наша Родина, весь наш народ идет к новым, светлым вершинам.

Пусть же будет благословен Новый год, пусть он принесет счастье всей нашей Родине.



Григол АБАШИДЗЕ,
председатель правления Союза писателей
Грузии, Герой Социалистического Труда



Николай ТИХОНОВ

На родине героя

За Сигнахи есть одно селенье,
Горы ты увидишь впереди,
В те сады могучего цветенья,
В Квемо-Мачхаани ты приди.

Здесь живет легенда о Джургае,
О щите, сзывавшем для борьбы,
К ней теперь прибавилась другая—
Не легенда — о герое был.

Ты на родине Мосулишвили,
Здесь века семья его растет,
Он из тех, что на чужбине были
Стойкими бойцами за народ.

И за честь Италии печальной
Он сражался, как ее сыны,
Стал героем он национальным
Итальянской голубой страны.



И сегодня чтят его на свете,
 Помнят подвиг Форе в свой черед
 Грузия, и земляки в Кахети,
 И долин Италии народ.

Думая ли он в юности, играя
 Перед домом, где царил покой,

Что ударит в славный щит Джургия
 Собственной прославленной рукой?

Путник, ты пришел сюда недаром,
 На мгновенье ты остановись,
 От лица потомков благодарных
 Квемо-Мачхаани поклонись!

Размышления на Мтацминде

На вознесенной временами выси —
 Я на Мтацминде сказочной стою,
 Передо мной красуется Тбилиси,
 В многообразном города строю.

Как великан, в грядущее шагая,
 Он с каждым шагом с жизнью века
 слит,
 За мною же — громада вековая
 Воспоминаний и надгробных плит.

Немеркнущую славой поколений
 Сверкают их на плитах имена,
 И эти плиты — лестницы ступени,
 К вершинам света шла по ней страна.

И если б все поэты и пророки,
 И мудрецы могли взглянуть сейчас
 На прошлого великие уроки,
 На будущего наступивший час,

На тот — внизу раскинутый Тбилиси,
 На Грузию от моря и до гор,
 Где все живет, чего бы ни коснися,
 Законом, разрешившим давний спор, —

Увидели б — совсем иные сети
 В глубинах духа, в шахтной тесноте —
 Простор сердец, и незнакомый ветер,
 И города и села уж не те!

И я судьбу, как скромный житель века
 Благодарю — за то, что в тьме людей,
 Советского увидел человека,
 Который стал, как в сказке, — чародей!

Так размышлял я, на вершине стоя,
 На высоте Мтацминды, и тогда
 Я вспоминал сегодняшних героев —
 Всех Автандилов мира и труда.

Всех, кто в полях, в тиши лабораторий,
 В садах, у лоз, у множества станков
 Мечтой входили в жизненное море,
 Чей свежий вал был исполински нов.

Я радостью наполнился богатой,
 Я видел в каждом друга и борца,
 Я каждого приветствовал, как брата,
 Закону дружбы верный до конца.

Уже в огнях — Тбилиси вспыхнул разом,
 Уж занялась закатная заря,
 А я стоял — о прошлых днях Кавказа,
 О будущем с Мтацминдой говоря!

В ответ огням Тбилиси и на плитах
 Бессмертные сверкнули имена,
 Как будто в море, для чудес открытом,
 Как корабли, встречались времена!



ВЕРШИНА ЛЮБВИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ТРУДНО, но радостно писать о большом поэте, стихи которого любят с малых лет, о человеке, личность которого давно стала символом всего самого лучшего в отношениях между литераторами нашей необъятной страны, пишущими на разных языках, число которых превышает семь десятков.

С момента зачинания советской литературы Максим Горький своей огромной литературной и общественной деятельностью олицетворял беспрецедентную дружбу и творческое единение литератур советских народов. После Горького Николай Тихонов является крупнейшим из русских писателей, кто всей своей биографией, всей своей замечательной и неутомимой творческой деятельностью осуществляет эту великую миссию русской литературы, продолжая горьковскую традицию. И как естественно и непринужденно справляется Тихонов с этой взятой им на себя благородной обязанностью! Лучшие из своих стихотворений он посвящает ленинской дружбе, жизни отдельных советских народов, и эти стихи признаны шедеврами советской поэзии; он переводит на русский язык поэзию братских народов, и эти переводы являются образцами советского переводческого искусства; он возглавляет юбилейные торжества великих классиков братских народов, и эти торжества превращаются в подлинные праздники культур советских народов — опять-таки благодаря его энтузиазму и авторитету. Немаловажно и то обстоятельство, что он связан неразрывной дружбой со многими представителями литератур братских народов нашей страны, чувствует себя близким и нужным человеком в каждой из советских республик, а двери его гостеприимного дома в Москве всегда открыты для многочисленных друзей, которые приезжают в Москву с радостным ожиданием встречи с поэтом — другом и наставником, всегда полным энергии и вдохновения.

Литература и культура всех народов нашей страны, объединенных в равноправную семью, в равной мере обязаны Тихонову. Поэтому каждый из этих народов старался по-своему выразить искреннюю горячую благодарность этому замечательному другу и поэту: он лауреат почти всех национальных премий братских республик и носит звание народного поэта многих из них.

Герой Социалистического Труда Н. С. Тихонов является участником Великой Отечественной войны. Он не только видел своими глазами, но и пережил все ужасы ленинградской блокады. Его стихи вселяли боевой дух в героических защитников Ленинграда в те тяжелые дни, и когда невиданная по своим масштабам битва окончилась разгромом гитлеровской Германии, в победной песне советского народа торжественно звучал мужественный голос Николая Тихонова. Он хорошо знал цену войны и мира, и потому более двух десятков лет тому назад начатое нашим народом движение сторонников мира выдвинуло его во главу этого движения.

С тех пор прошло уже столько времени, а он не только не устал в этой благородной борьбе, но и вносит новый значительный вклад в проведение в жизнь усилий нашей партии и народа по укреплению мира и сотрудничества между народами, способствуя росту многомиллионной армии сторонников мира во всем мире; к его слову прислушиваются во всех уголках нашей планеты, его делу благодарны все люди доброй воли на земле, и нас удивляет лишь одно: откуда черпает энергию этот увлеченный сединами человек для своей неутомимой и столь нужной людям деятельности?

У советских людей нет чувства благороднее и дороже, чем чувство дружбы народов, у советского народа и народов всего мира нет более важной и насущной потребности, чем сохранение мира во всем мире.

И когда олицетворением этих двух наиболее благороднейших и наиболее важных чувств и устремлений выступает один из лучших советских поэтов, для нас, поэтов Советской страны, это большая гордость.

Мы уже отметили, что все советские народы по-своему выражают чувство благодарности Николаю Семеновичу Тихонову.

Грузинский народ это чувство выразил тем, что своего лучшего друга — русского поэта — одним из первых наградил своей национальной литературной премией, носящей имя великого грузинского поэта Шота Руставели. Это было выражением благодарности за те великолепные стихи, в которых этот большой русский поэт так неповторимо прекрасно воспел Грузию, и за тот огромный вклад, который он внес в дело перевода грузинской поэзии на русский язык, как один из первооткрывателей богатств нашей поэзии для русского читателя.

Н. Тихонов в наше время одним из первых своеобразно продолжил традицию тесной и плодотворной связи с Грузией, идущие от корифеев русской и мировой поэзии Пушкина и Лермонтова. Если в прошлом веке для этих двух гигантов русской поэзии источником вдохновения явились красота природы Грузии, ее людей, то в наше время Тихонов совершенно по-новому продолжил эту эстафету любви к природе и народу Грузии, освобожденному революцией от социального и национального гнета.

В одном из своих выступлений Н. С. Тихонов говорит: «Есть страны, полные особого значения для других стран. Это выражается не в области экономики или политики. Нет, они в особом поэтическом ореоле для многих поколений, сменяющих друг друга. Их природа, их искусство, их древняя культура вызывают особое волнение не только знатоков. Они оказывают свое влияние на художников, писателей, ученых... Одна из таких стран в Европе, стран, которые для европейского сознания являются полными особого смысла, по-моему, Италия. Для русских поэтов нашей Италией, несомненно, стала Грузия».

Грузинская тема стала одной из наиболее значительных в поэзии Тихонова, и не только в поэзии. Его перу принадлежит множество статей о Грузии, ее природе и об отдельных его людях, о грузинской литературе и искусстве, которые проникнуты публицистическим пафосом, и в них всегда присутствует особая, тихоновская точка зрения. Эти его статьи и эссе полны оригинальных мыслей, отмеченных печатью глубокого понимания и очень большого таланта.

Грузия стала частицей не только поэзии Тихонова, но и всего его существования, его биографии на протяжении многих лет. Он создал поэтические циклы о Грузии, и именно этими стихами сказал совершенно новое слово в русской поэзии XX века. Одни только эти стихотворения могли обеспечить вечную любовь и благодарность грузинского народа Тихонову, но он оказал грузинскому народу и другую большую услугу, которую трудно переоценить. Вместе со своими друзьями Пастернаком, Антокольским и Заболоцким он явился первооткрывателем грузинской поэзии, пионером блестящих переводов этой поэзии, открыв этим совершенно новый этап в развитии советской переводческой школы.

Н. Тихонов со всеми делит свое большое сердце поэта. Его муза с одинаковым вниманием обращалась к жизни каждого из тех народов, о которых он писал. Украина и Армения, Литва и Латвия, Азербайджан и Туркмения, Авария и Балкария одинаково дороги его творчеству, и как в древности города оспаривали друг у друга право считать своими гражданами великих поэтов, так и сейчас, в дни юбилея Тихонова, многие народы Советского Союза не без основания полагают, что честь считать Тихонова своим другом и певцом по праву принадлежит и им.

Грузии Н. Тихонов посвятил большую часть своей жизни и вдохновения. Эта заслуга настолько неоценима, что нашу дань благодарности и уважения Тихонову вряд ли возможно выразить в достаточной мере какими-либо наградами и званиями. Единственное наиболее полное выражение нашей признательности Тихонову — это всеобщая любовь к нему, и Тихонов прекрасно знает, насколько искренна и безгранична эта любовь грузинского народа.

Альпинисты Грузии присвоили имя Тихонова одной из безымянных вершин Кавказа. В этом, кроме выражения к нему как альпинисту (как известно, Тихонов увлекается альпинизмом и участвовал в покорении многих вершин) уважения, заключена и та большая и горячая любовь грузинского народа, которой всегда пользовались лучшие сыны России.

Имя Тихонова по праву увенчало эту вершину — своим вдохновенным взором поэта-гуманиста оглядывает он с ее высоты освещенные солнцем социализма бескрайние дали нашей Родины. А песне его, славящей мир и дружбу между народами, вторят лавины, мчащиеся с вечно заснеженных гор, и реки, струи которых могучи и звучны, как сама его поэзия.

ДРУГ И БРАТ МОЕЙ ГРУЗИИ

Николай Тихонов...

Большой русский советский поэт, творчество которого широко известно и любимо во всех краях нашей необъятной Родины. Николай Тихонов — друг и брат моей Грузии, моей грузинской литературы.

Мы познакомились в начале тридцатых годов, когда он впервые приехал в Грузию, вместе извездили всю Кахети. Затем эта поездка была отражена в его стихах. К тому времени Николай Тихонов был уже известным поэтом, о творчестве которого тепло отзывался Максим Горький. За первой встречей последовали другие, и наше знакомство постепенно переросло в крепкую дружбу, над которой не властны ни годы, ни расстояния. И сегодня, когда Николаю Тихонову исполнилось восемьдесят лет, мне особенно приятно поздравить его, пожелать ему еще многих лет жизни и, само собой, многих блистательных строк и поэтических открытий, ибо речь идет о поэте, и жизнь его немислима без стихов и вдохновения. Но понятие советский поэт вмещает в себе не только творца стихотворений. Оно значительно более емко и обширно. Советский поэт — еще и общественный деятель, гражданин, борец за счастье людей. И вся биография Николая Тихонова является прекрасным подтверждением этого. Радости и заботы страны — его личные радости и заботы.

Вспоминается 1933 год, время, когда самым главным и популярным было слово «индустриализация». Николай Тихонов, я, другие русские и грузинские писатели на Зестафонском ферросплавном заводе присутствуем на плавке. Я помню, как все происходящее принимал близко к сердцу Николай Тихонов. Помню его ликование, когда плавка была окончена. Он бросился обнимать Володю Саладзе — передового рабочего, который руководил плавкой.

Таких примеров можно привести множество, и суть их в том, что Николай Тихонов — свой человек для металлургов и шахтеров, виноградарей и хлеборобов. Они с ним делятся своими мыслями, чаяниями, надеждами. Любовь и доверие народа — это и есть высшая награда для любого писателя.

Ранние свои стихи Николай Тихонов написал в годы первой мировой войны. Он был кавалеристом, гусаром, участвовал во многих сражениях. Искать тему ему не приходилось — она властно заявляла о себе, говоря словами Маяковского, бряцанием боев она врывалась в стих. Но уже тогда проявилась яркая индивидуальность Николая Тихонова, он по-своему, талантливо и непохоже сумел раскрыть эту тему. Не закрывая глаза на ужасы войны, показал мужество и смелость простых солдат. Тихонов опирался в данном случае на лермонтовские традиции, развитые затем в прозе Львом Толстым. Но полное раскрытие таланта Николая Тихонова произошло после Великого Октября. Благодаря революции он, как поэт, родился заново.

Гражданская война. Тихонов в Красной Армии. Именно здесь он зарядился теми впечатлениями, которые затем вылились в его знаменитые баллады о гвоздях и синем пакете, выдвинувшие его в первые ряды революционных поэтов. Эти стихи стали классикой, и каждый раз, перечитывая, поражаешься их силе и свежести. Ощущаешь, что действующие лица — не те солдаты первой мировой войны, а новые люди, знающие, за что воюют, ради чего жертвуют жизнью. И отсюда идет весь тон стихотворений, оптимистический дух пронизывает строфы.

Стоять в первых рядах революционных поэтов было совсем не просто. В двадцатые годы в русской поэзии работали Маяковский, Есенин, Багрицкий, Светлов...

Если будет написано исследование — Грузия в стихах русских поэтов, начиная с Пушкина и до наших дней, — в нем большая глава должна быть посвящена творчеству Николая Тихонова. Циклы «Стихи о Кахетии», «Грузинская весна», целый ряд других вещей... Стихи о наших горах и реках, городах, и селах, стихи о людях. В одном стихотворении Тихонова есть такие строчки: «...я смотрел на ломтики витые, что по-грузински «када» мы зовем». «Мы зовем» — так может сказать только тот, кто стал родным и близким человеком грузинскому народу.

Особого разговора заслуживает деятельность Николая Тихонова как переводчика. Он провел поистине гигантскую работу, переводя на русский язык стихи поэтов братских республик, и в частности грузинских. Галактион, Георг

гий Леонидзе, Тициан Табидзе, Симон Чиковани... Перечислить всех тех поэтов, кого переводил Тихонов, здесь нет никакой возможности. Но ~~он не просто~~ переводил, а вникал полностью в мир образов, индивидуальную манеру ~~того~~ или иного художника. Поэтому стихи, переведенные Тихоновым, всегда сохраняют прелесть и аромат подлинника, и вместе с тем они отмечены неповторимым тихоновским обаянием. А сколь трудно все это дается, может судить тот, кто сам занимался переводами. И смело можно сказать, что Николай Тихонов совершил подвиг.

Многогранная общественная деятельность Николая Тихонова общеизвестна. Но хочется особо подчеркнуть его роль в международном движении за мир во всем мире как председателя Советского комитета защиты мира. Да, Николай Тихонов — участник четырех войн, свидетель ленинградской блокады — прекрасно знает, какие несчастья несет война. Знает цену мирному труду.

И тут вспоминается такой эпизод, который мне уже после войны рассказал Тихонов, и я впоследствии на эту тему написал стихотворение. Ленинград был осажден, на подступах к городу шли бои. Но природа пыталась жить так, как ей положено, и весной перелетные птицы возвращались к своим гнездам. Над окопами летели грачи, и фашистский солдат подстрелил одну птицу, но упала она в окоп к нашим солдатам. И смерть птахи, несмотря на все окружающие ужасы, очень сильно подействовала на наших ребят. Они вырыли ей могилу и похоронили. Настоящие люди и на войне остаются людьми, а любовь ко всему живому у них еще более обостряется.

В литературной жизни Грузии за последние сорок пять лет не было ни одного значительного события, в котором не принял бы самого активного участия Николай Тихонов.

На первом юбилее Шота Руставели Тихонов выступил с докладом. На юбилее в шестидесятые годы он был членом организационной комиссии. И ведь недаром ему присуждена премия имени Шота Руставели...

Наш Николай Тихонов — так говорят не только грузинские писатели, но и грузинские рабочие и колхозники, служащие и студенты. И в это слово — наш — вложено много, очень много искренней любви и уважения.

Георгий ДЖИБЛАДЗЕ

«ВОТ ОН, ТИХОНОВ, ТАКОВ, КАК ОН ЕСТЬ...»

РУССКАЯ советская поэзия и Николай Тихонов родились почти одновременно, поэтому невозможно говорить о творчестве Тихонова, не касаясь основных моментов развития русской литературы после Великой Октябрьской социалистической революции. Сказать обо всем этом в рамках маленькой юбилейной статьи я считаю невозможным и потому стремлюсь только подчеркнуть, что Николай Тихонов является одним из самых блестящих, самых колоритных русских писателей, стихи и прозаические шедевры которого неизменно привлекают к себе внимание огромных читательских масс.

Соприкоснуться с творчеством такого писателя — особая радость для критика, тем более что я лично знаком с Николаем Семеновичем, неоднократно встречался с ним, хорошо знаю его творчество.

Тихонов — явление примечательное не только в советской, но и в современной мировой литературе. Невозможно представить поэзию последних шестидесяти лет без его поэзии, так же как сам Тихонов не мыслится вне нашей большой литературы. Вся история советской литературы, ее борьба, творческие устремления, сдвиги, взлеты, победы — все сполна отразилось в поэтическом мире Николая Тихонова — таком многогранном, очаровательном и любимом.

Я имел счастье познакомиться с Николаем Семеновичем в 1944 году, в бытность его одним из руководителей Союза писателей СССР. Я же был тогда ответственным секретарем Союза писателей Грузии.

Я приехал в Москву и был приглашен к Н. С. Тихонову. Меня тронул теплый, доверительный тон его беседы, вопросы о том, как я доехал до Москвы, как устроился, не нуждаюсь ли в чем-либо. Шла война, и, несмотря на триумфальное продвижение вперед наших войск, тяжелое положение сказывалось

во всем. Я поделился тем удручающим впечатлением, которое произвели на меня разрушенные деревни и города, разоренные поля, обломки военной техники, которые я наблюдал по дороге в Москву.

Наша беседа длилась два часа. С большой любовью Николай Семенович расспрашивал меня о Галактионе Табидзе, Сандро Шаншиашвили, Георгии Леонидзе, Иосифе Гришашвили, Шалве Дадiani, Константине Гамсахурдиа Нико Лордкипанидзе, Лео Киачели. Тепло и любовно он говорил о Симоне Чиковани и Бесо Жгенти, высоко оценив их талант.

Эта наша встреча запомнилась мне на всю жизнь.

В цикле стихов Николая Тихонова о Югославии есть такой рефрен: «Вот она, Югославия, такова, как она есть!». Я сейчас работаю над большой монографией о прекрасном русском поэте Николае Тихонове, в которой, перефразировав этот известный рефрен, пытаюсь показать: «Вот он, Тихонов, таков, как он есть!».

Сандро ШАНШИАШВИЛИ

МНЕ ДОРОГА ПАМЯТЬ О НАШИХ ВСТРЕЧАХ

МОЕ ЗНАКОМСТВО с Николаем Семеновичем Тихоновым состоялось сначала через поэзию. До личной встречи с ним я заинтересовался его стихотворениями. Когда же в первые годы установления Советской власти из Москвы в Грузию приехала делегация писателей, в составе которой был Николай Тихонов, представилась возможность познакомиться с ним лично. После одного из официальных мероприятий я пригласил приехавших гостей к себе домой. В то время у меня гостил известный режиссер и артист Акакий Васадзе. В тот вечер он читал наизусть много моих стихотворений и тут же по-русски пересказывал их содержание гостям. Стихотворение «Кахетинская невеста» настолько понравилось Николаю Тихонову, что он тут же перевел его.

Тогда и было положено начало нашей дружбе.

Я с семьей часто гостил у него в Москве и в Переделкино. Николай Тихонов в свою очередь бывал у меня в Кахети. В ту пору он пешком обошел почти всю Грузию, завязывая бесконечное множество знакомств и обретая новых и новых друзей.

В Грузии с восторгом был встречен цикл его стихов о Кахети. А мне особенно дорог факт, что цикл этот Николай Тихонов посвятил моей жене Маро.

Во время своего пребывания в Кахети Николай Тихонов и его жена Мария Константиновна ни минуты не сидели на месте. С раннего утра, вооружившись палками, они отправлялись в путь, изучали окрестности, знакомились со старыми церквями и развалинами крепостей, заходили в дома и местным крестьянам, интересуясь их жизнью, бытом.

В долине Алазани недалеко от Телави возвышается великолепный старинный храм Алаверди, где ежегодно в конце лета праздновался большой храмовый праздник — алавердоба.

Из всех уголков Грузии и окрестных местностей сюда стекался народ. Приезжали ингуши, лезгины, азербайджанцы — на грузовиках, фазтонах, верхом, в кибитках. Разжигались костры, на огромных шампурах жарились туши баранов. Ночь озарялась факелами. Здесь было все — танцы, состязания смельчаков в борьбе, джигитовка.

Одно из пребывания Тихонова и его жены в моей деревне Джугаани совпало с этим праздником. Возможность участвовать в нем доставила Коле неописываемую радость.

Вокруг расстеленной прямо на траве скатерти возникло бурное веселье, ашуги читали стихи, звуки зурны и сазандари сотрясали воздух. Чтобы впечатление от праздника у русского друга было еще более полным, мои друзья похитили его. После долгих поисков мы нашли его среди большой группы молодежи. В тушинской шапке он отплясывал в их кругу с девушкой грузинский танец. Сидевшие вокруг на траве зрители хлопали в такт музыке.

Как-то в Джугаани у меня гостили одновременно Н. Тихонов и грузинские поэты — Георгий Леонидзе, Ираклий Абашидзе; Ило Мосашвили.

На стене был вывешен шуточный «указ» (автором которого был Н. Тихонов) — всем поэтам ежегодно, 9 октября, являться в Джугаани и читать свои стихи. В течение нескольких лет действительно в этот день в Джугаани собирались писатели и поэты. На стене оставили свои автографы Николай Заболоцкий, Александр Фадеев, Самед Вургун, Ираклий Андроников, Олекса Новицкий, многие грузинские поэты.

Как-то в осеннюю ненастную ночь, возвращаясь на машине с празднования юбилея Низами в Баку, неожиданно ко мне заехали Коля Тихонов, Саша Фадеев и Самед Вургун. По дороге они охотились и привезли с собой большую добычу. Я был безмерно рад этой встрече. Веселью и шутке в ту ночь не было границ. Коля всю ночь пел, Саша Фадеев читал стихи Бараташвили в переводе Пастернака. А уставшему с дороги Самеду Вургуну мы никак не давали заснуть, заставляя и его читать стихи. В ту ночь у меня сложился экспромт, посвященный Тихонову, который впоследствии лег в основу стихотворения и был опубликован.

Воспоминания об этих встречах, о нашей молодости очень дороги моему сердцу.

Владислав ШОШИН

Крылатого гонит коня...

Н. ТИХОНОВУ

1

Грузинской дорогой, где осыпь
Клубится, простор заслоня,
Романтики слава откосы,
Крылатого гонит коня.

Усталость ложится на плечи,
Туман отдохнуть не дает,
Но путь беспределен — и вечен
Души беспокойной полет.

Не стыть ей под крышей уютной,
Ей звездный сродни небосклон,
В ней сполох победы салютный
И пламя победных знамен.

Про подвиг народа великий
Нам страстно поведал поэт,
Он поднял над временем книги —
Маячный немеркнущий свет.

А сам по ущелью, где осыпь
Клубится, простор заслоня,
Романтики слава откосы,
Крылатого гонит коня.

2

Все так же Нева необъятна —
Легендой увитая даль,
Все так же Нева незакатна —
Лазурью умытая сталь.

Все так же литые колонны
Свободы качает ладонь,
И значит, бессмертен зажженный
Салютами вечный огонь.

И значит, не зря умирали
В порыве далеких атак,
Чтоб новые дали сверкали
И реял победно наш флаг.

Чтоб мир для веселых и смелых
Легендою был не пустой...
Но бронза на каменных стелах
Не ярче зари золотой.

Так пусть неизменны закаты,
Былинным просторам сродни,
И голос — родной, хрипловатый,
Но звонкий, как юность солдата,
Зовущий в грядущие дни!

МНОГИЕ ЛЕТА!

НЕДАВНО собратья Николая Тихонова по перу, встретившись в Тбилиси, как обычно, много говорили о нерасторжимой дружбе советских народов и литератур. О Николае Тихонове, как об одном из самых ярких представителей того поколения русских литераторов, которое еще выше подняло знамя грузинской поэзии, говорили особо.

Мне грустно, что в день славного 80-летия большого русского поэта о нем не могут сказать свое слово Тициан, Паоло, Гогла...

Я не могу забыть, как пылко и вдохновенно Николай Тихонов переводил стихи грузинских поэтов, работая в Сагурамо, какой безмерной любовью к грузинской земле дышали его переводы стихов Тициана, Галактиона, Гоглы.

Наша последняя встреча с ним произошла в Киеве на юбилейных торжествах великого украинца Тараса Шевченко. Мы тогда долго беседовали о бессмертии поэзии...

И сейчас в моем сознании звучит голос Николая Тихонова, и я рад, что любовь к грузинской поэзии по-прежнему согревает его сердце, по-прежнему увлекают его воображение аромат грузинской земли и музыка нашего стиха. И если сегодня Николай Тихонов придет к нам, он снова сумеет убедиться, что еще прекраснее стали его Кахети, Сагурамо и Алазанская долина, что виноградники и поля наши сейчас так же великолепны, как сияние солнца в его любимом Цхнети. А новое поколение грузинских поэтов встретит Николая Тихонова с той же радостью, как некогда встречали Гогла и Тициан, потому что поэзия вечно молода и бессмертна.

Мравалжамьер, дорогой друг!

Реваз МАРГИАНИ

НАШ ТИХОНОВ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — это то имя в нашей литературе, в нашей жизни, та личность, о которой можно говорить и писать бесконечно. Вот уже полвека он связан беззаветной и бескорыстной дружбой с грузинским народом и прежде всего с его литературой. Кавказ, а Грузия в особенности, для него родной край, где у него неисчислимо множество друзей.

Он был одним из первых мастеров русского поэтического слова нашего времени, кто побратался с Грузией и ее поэзией. Достигнув восьмидесяти лет, он по-прежнему неутомимо, с поистине молодым задором и свойственной ему энергией продолжает воздвигать храм, который мы зовем дружбой народов.

Николай Тихонов большой и правдивый поэт. Вероятно — впрочем, не вероятно, а совершенно точно — его великие предшественники внушили поэту любовь к Грузии. С юных лет его манили горы и долины Грузии. Наверное, нет в моей Грузии дорог и путей, по которым не прошел бы Николай Тихонов. И яркие впечатления от этих путешествий и прежде всего почерпнутое в них вдохновение сполна отразились в его интереснейшем и многогранном творчестве.

Истинное поэтическое вдохновение сопутствовало ему на протяжении всей его жизни — с юношеских лет до сегодняшних дней. Его поэтическая муза не вяжется со старостью, и свидетельством тому — его творчество последних лет.

Восемь десятилетий — нелегкое бремя, а шесть из них отданы поэзии, хотя ни в одной тихоновской строке вы не почувствуете усталости. Холод старости не сковал его разума, а ранняя седина украшала совсем еще молодого



поэта! Таким помнят и знают его грузинские друзья с первых же дней знакомства и дружбы с ним.

Грузинский читатель знает Николая Тихонова еще с его первых замечательных книг «Орды» и «Браги» — уже тогда он стал близким для любителей поэзии. А впоследствии, как он сам говорит, книгами, посвященными Грузии, засияла радуга братства. Эти стихи украсили современную русскую поэзию, они прозвучали новым словом во всей многонациональной советской поэзии.

Николай Тихонов одним из первых положил начало переводам грузинской поэзии на русский язык. Вместе с Борисом Пастернаком, Николаем Заболоцким, Павлом Антокольским и другими выдающимися мастерами он сумел познакомить русского читателя с дотоле неизвестным ему миром — древней и новой грузинской поэзией. Посредством русского языка грузинский стих зазвучал на многих языках братских народов. И сознавая всю значимость этого факта, мы оцениваем его как огромное явление в нашей культурной жизни.

Что же касается поэзии Николая Тихонова, в частности, его стихов о Грузии — то это подлинный гимн братству, любви, вдохновению.

Николай Тихонов внес неоценимый вклад в дело пропаганды грузинской культуры, особенно, грузинской художественной литературы. Благодаря его инициативе и ревнивому вниманию было издано множество грузинских книг на русском языке. Он дал путевку многим достойным произведениям грузинской литературы на всесоюзную арену, окружая постоянной заботой их авторов.

В Грузии нет, пожалуй, уголка, где у Николая Тихонова не оказалось бы бесчисленного множества друзей и почитателей. И сам он прекрасно знает Грузию, ее трудолюбивых людей, любовь к которым переносит на страницы своих книг, стихов, рассказов, статей, очерков.

Николай Тихонов руководил в Москве многими юбилейными торжествами больших грузинских писателей и общественных деятелей, праздновавшимися во всесоюзном масштабе, и всегда вкладывал много сил и энергии, чтобы эти даты вылились в подлинный праздник братства и дружбы.

В Москве Николай Тихонов всегда искренний и радушный хозяин для своих грузинских друзей.

Прекрасный сын великого русского народа, достойный продолжатель традиций, заложенных его великими предшественниками, большой поэт России, поэт-интернационалист и подлинный глашатай братства народов — Николай Тихонов бесконечно и преданно любим как у себя на Родине, так и за ее пределами.

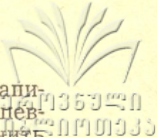
Георгий ЦИЦИШВИЛИ

СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

ВСПОМИНАЕТСЯ мне Ленинград, схваченный смертельными клещами блокады, изможденный сокрушительными атаками фашистских полчищ, израненный и искромсанный бесконечными авиационными и артиллерийскими обстрелами, измотанный, измученный голодом и жаждой, и все-таки не сломленный и непоколебимый, непокоренный и гордый город Ленина.

Вспоминаются уменьшенного формата «Ленинградская правда» и газета Ленинградского фронта «На страже Родины», которые с таким нетерпением ждали мы, солдаты и офицеры, участники обороны города. И ждали не только потому, что могли в них прочесть последние вести с фронта, но еще потому, что в них почти каждую неделю (а порой и еще чаще!) печатались очерки и рассказы к тому времени уже прославленного ленинградского писателя Николая Тихонова.

Это были поистине волшебной, чудодейственной силы произведения о городе-герое, о его мужественных защитниках, об их негнимоной воле и величии духа, о фронтовых буднях, поскольку в Ленинграде не существовало тыла и фронта: здесь всюду был фронт и каждый был солдатом.



С тех пор прошло много лет. Я имел возможность не раз перечитать написанное Тихоновым в те годы, чтоб снова испытать уже знакомый мне душевный трепет, но я намеренно не возвращался к прочитанному, чтоб сохранить в душе нетронутым первое неповторимое впечатление, первое радостное удивление, испытанное мною при прочтении произведений Николая Тихонова в пору ленинградской блокады.

И сегодня не увяла в моей памяти чудодейственная серия очерков «Ленинград в мае», «Ленинград в июне», и так почти о каждом месяце того самого жестокого, самого трудного и мучительного тысяча девятьсот сорок второго года. В то время ленинградцам не менее хлеба необходимы были «полезная правда», поддержка, тепло и любовь. И Николай Тихонов не только понимал это, он умел дать их своим читателям.

С произведениями Н. Тихонова я уже тогда был знаком, читал величавые циклы «Орда» и «Брага» (1920—1922), сборник «Стихи о Кахетии» (1935), но впервые только тогда, на Ленинградском фронте, почувствовал душевную красоту этого поистине большого поэта, привлекательность и пластичность созданных им образов, редчайшее чеканное мастерство писателя и пьянящее воздействие его художественного слова.

Сборники его произведений периода блокады, поэма «Киров с нами» (1941) и сборник стихов «Огненный год» (1942) не только ближе познакомили меня с поэтом, помогли понять его прошлое, но дали мне возможность предугадать его будущее. Да сбудется так мечта каждого доброго человека, как сбылись мои предчувствия! Николай Тихонов сегодня — знаменосец советской литературы, его признанный патриарх, художник и гражданин, отдающий весь свой талант, все свои силы творчеству и общественной деятельности на благо Родины.

И я почему-то думаю, что в популярности поэта решающее значение имело его творчество периода ленинградской блокады. Разве можно забыть «Ленинградские рассказы» Н. Тихонова, в которых он открыл читателю новые духовные качества нашего современника! Герои этих рассказов — женщины Ленинграда, его дети, юноши и старики, необычный, удивительный, исполненный величия гарнизон героической цитадели.

Можно ли забыть рассказы и очерки писателя, опубликованные не только в ленинградской, но и центральной прессе, его очерки об известном полковнике Краснове, о рядовом Сосновском, закрывшем телом амбразуру, о летчиках-героях, о людях, носящих с достоинством имя советского офицера, о героях солдатах и о многом другом.

Помню, как вдали от Грузии, в кольце ленинградской блокады, я с душевным трепетом и страхом ждал новых вестей с фронта и именно в эти тревожные дни прочитал в ленинградской газете исполненный веры в победу, пронизанный сыновней любовью очерк Н. Тихонова «Величие Кавказа».

В тот день я бродил опьяненный проникновенными, горячими словами любви поэта к моей земле. Они вселили в меня веру в то, что героические народы Кавказа дадут достойный отпор захватчику и коричневый змий повернет вспять.

В произведениях Н. Тихонова военных лет слышался голос всех народов нашей страны — грузина Диасамидзе, армянина Джанояна, узбека Азилова и множества других, но сильнее всего, наиболее впечатляюще звучал все-таки голос измученного Ленинграда. Израненный, искалеченный город по воле волшебного пера поэта вставал во всей подлинной своей поэтической красоте, каждая строка о Ленинграде была проникнута трепетной сыновней любовью, дышала правдой, и эти внешне простые, непритязательные произведения писателя приобретали силу прекрасного живописного полотна.

Помню, как однажды я чуть было не заболел, читая рассказ Тихонова. Стояла ранняя весна 1942 года, но все еще было морозно. Тогда я служил на бронепоезде. Утром принесли газеты, я развернул одну и, увидев рассказ Николая Тихонова, сел и стал читать. Сталь была холоднее льда, но я был так увлечен чтением, что не поднялся, пока не дочитал все до конца. Тогда я так простудился, что чуть было не слег. Да, поистине чудодейственно было для защитника Ленинграда каждое слово Тихонова!

Прошло пятнадцать лет после жестокого 1942 года, и мне посчастливилось познакомиться с любимым мною поэтом. Я благодарен за это двум прекрасным грузинским поэтам Сандро Шаншиашвили и Георгию Леонидзе.

Вслед за этим было еще множество встреч, деловых или просто праздничных, то в солнечной Джугаани — родной деревне Сандро Шаншиашвили, то в Переделкино на даче Тихонова, то в Цхети у Георгия Леонидзе, всех не перечислить. И писем Н. Тихонова ко мне накопилось за это время немало. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что всегда и везде — в разговоре, выступлениях, рассказах, стихах, в его личных письмах — поражает и привлекает искренняя, прямо-таки сказочная влюбленность в Грузию, в ее народ и историю,

в ее настоящее, в грузинский быт, природу и литературу. Не знаю, есть ли на земле еще один негрузин, который так самозабвенно любил бы нашу землю, не знаю даже, много ли найдется среди самих грузин людей, так хорошо знающих наш край, его самые отдаленные уголки, города и села.

Я всегда поражался знанию Тихоновым географии Грузии, ее дорог и перекрестков, ее тропок и перевалов. Он так хорошо знает Сванети и Рача-Лечхуми, Тушети и Хевсурети, Хеви и Мтиулети, Картл-Нахети, Имерети и Мегрелию, Гурию, Абхазию и Аджарию, словно эти края лежат у него на ладони. И не только знает, потому что почти все обошел пешком, но и любит их, как родные.

Не раз слушал я его тосты в Джугаани, обращенные к названным братьям — Гогле и Сандро, и всегда они казались мне возвышенными песнопениями, клятвой, обращенной ко всей Грузии. И как радостно, что поэт до конца остается верен этой однажды данной клятве! И горько сознавать, что этот человек, как и все мы, живущие на земле, стареет. Хотя разве может старость нанести ущерб такой колоссальной глыбе!

Николай Тихонов не раз признавался, что счастлив тем, что любим Грузией, и еще говорил, что эта любовь — отзвук векового русско-грузинского братства. Да, сердце каждого из нас, каждого истинного грузина, открыто для этого большого поэта и общественного деятеля, который столь неразрывно связан с Грузией и ее величественной культурой.

Владимир АЛПЕНИДЗЕ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ, лауреат Международной Ленинской премии защиты мира между народами, патриарх советской литературы, ее живая летопись, «живая энциклопедия» советского художественного слова (как его называют во многих странах мира), большой друг грузинской культуры, — автор книги «Писатель и эпоха», в которую вошли созданные им на протяжении последних сорока лет избранные выступления, литературные записи, очерки, многие из которых публикуются впервые.

Эта интересная и многообразная книга содержит немало уникальных по своему характеру материалов.

Николай Тихонов рассказывает о Пушкине, Лермонтове, Горьком, Маяковском, Блоке, Есенине, Фадееве и других классиках русской и советской литературы.

Особое внимание в издании уделено писателям-классикам народов Советского Союза — Низами и Навои, Тарасу Шевченко и Лесе Украинке, Ованесу Туманяну, Аветику Исаакяну и другим.

Большое место в сборнике занимают материалы о Грузии и грузинской литературе.

В одном из разделов, озаглавленном «Слава поэзии», помещены две статьи Н. Тихонова о классиках грузинской литературы — «Шота Руставели в миро-

вой поэзии» и «О Николозе Бараташвили».

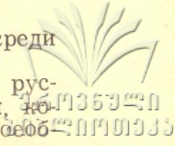
В разделе «Из литературных записей о писателях-современниках» речь идет наряду с писателями других народов и о Георгии Леонидзе, Сандро Шаншиашвили, Симоне Чиковани («В мире высоких радостей»).

В раздел «От I до V съезда писателей СССР» включено выступление Н. Тихонова на VII съезде писателей Грузии.

Пяти грузинским поэтам в этой книге посвящены самостоятельные статьи, но, помимо этого, Николай Тихонов не раз вспоминает о грузинских писателях, говоря о литературах других народов Советского Союза.

Можно с уверенностью сказать, что мысли о Грузии и грузинских писателях красной нитью проходят через всю книгу, в которой Николай Тихонов предстал перед нами как большой интернационалист, несравненный певец дружбы и братства между народами и литературами, один из знаменосцев литературы социалистического реализма, подлинный мастер публицистического слова, своеобразный теоретик, критик и исследователь литературы.

Сборник «Писатель и эпоха», откликающийся на важнейшие проблемы диалектического взаимоотношения времени и художника, позволил заглянуть в творческую лабораторию его автора и



историю создания того или иного произведения.

Эта книга имеет особое значение не только с точки зрения исследования творчества Николая Тихонова, этого всемирно известного советского поэта, прозаика, переводчика, но и для истории русско-грузинских литературных отношений, в плане изучения современного литературного процесса, и особенно теории и практики взаимовлияния и сближения литератур народов Советского Союза.

Как в своей поэзии и прозе, Николай Тихонов и здесь новаторски продолжает те большие традиции русской классической литературы, основу которых заложили Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Мы имеем в виду великолепные традиции русско-грузинских литературных отношений.

Пушкин, как известно, посвятил Кавказу и Грузии не только поэтические шедевры, но и блестящую документальную прозу («Путешествие в Арзрум»). Так что пушкинские традиции в этой сфере выходят за рамки поэзии.

В творчестве Тихонова тема Кавказа, Грузии тоже преодолевает пределы поэзии. Ярким свидетельством этого является хотя бы книга «Писатель и эпоха», в которой ее автором буквально спет гимн Шота Руставели. Статья «Шота Руставели в мировой поэзии» написана Николаем Семеновичем в дни празднования 800-летия со дня рождения гениального грузинского поэта.

Н. Тихонов называет поэму «Витязь в тигровой шкуре» совершенным творением поэтического гения, входящим в пантеон величайших произведений мировой классической поэзии, принадлежащим всему человечеству.

Великолепный знаток нашей истории, он блестяще знает Грузию эпохи Руставели, историю грузинской литературы. Об этом говорят хотя бы исторические экскурсы, позволяющие автору познакомиться нас с теми этапами исторических взаимоотношений России и Грузии, с теми летописными указаниями, которые сыграли особую роль в укреплении дружбы русского и грузинского народов.

Грузию эпохи Руставели Н. Тихонов показывает на фоне истории народов Востока и Запада, приводя при этом колоритные штрихи, характерные для цивилизации стран как Европы, так и Азии, которые с еще большей ясностью вырисовывают закономерность развития грузинского поэтического и философского гения.

Грузия того периода, по его словам, была страной славной и богатой... Ее государственные доходы превышали доходы Персии и Ирака, Англии и Франции того времени, а Шота Руставели был рыцарем среди рыцарей, ученым

среди ученых, первым поэтом среди поэтов.

Так представляет выдающийся русский поэт гения грузинской поэзии, который, по его мнению, создал своеобразную поэму-энциклопедию. Эта оценка в чем-то напоминает оценку, данную «Евгению Онегину» Белинским, который, как известно, назвал этот пушкинский роман в стихах энциклопедией русской жизни.

И Н. Тихонов пишет, что Руставели создал золотые законы дружбы, преданности, храбрости, патриотизма, самопожертвования ради соотечественника, что поэма «слилась с жизнью народа, как книга с увлекательными стихами, как источник воспитания, как кодекс чести, ставший сборником нравственных правил, закрепленных народными обычаями».

Певец рыцарства, любви, братства и дружбы между народами, Руставели сам является «витязем, вышедшим на бой с жестоким, мрачным временем и победившим его».

Н. Тихонов ясно видит все то, благодаря чему поэма Руставели сохраняет современное звучание.

Автор «Витязя в тигровой шкуре» — современник всех поколений человечества, ибо он бессмертен.

Отдельную статью посвящает Н. Тихонов бессмертному автору «Мерани», имя которого, как он считает, стоит на первом месте после Руставели, хотя среди его предшественников — много замечательных грузинских поэтов.

Но поэзия Николоза Бараташвили, — пишет Н. Тихонов, — «стала началом новой эры в истории грузинской поэзии, стала достоянием народа, слилась с его жизнью, как судьба самого поэта слилась с судьбой его родины».

К этой оценке с полным единодушием присоединяется Кайсын Кулиев в своем творении «Моя Грузия». Мнения русского и балкарского поэтов о Бараташвили удивительно совпадают. Два острых поэтических взгляда, следуя различными путями, открыли одну поэтическую истину.

Н. Тихонов не только прекрасно знает Грузию эпохи Бараташвили, его творчество, но и дает их собственное понимание, свою интересную интерпретацию.

Как и великого Руставели, он рассматривает Бараташвили не изолированно от историко-социальных явлений, а в тесной связи как с ними, так и с видными деятелями грузинской и русской литературы.

Лирические стихи Николоза Бараташвили Н. Тихонов считает образцами мировой лирической поэзии.

По его мнению, «лёт «Мерани» Бараташвили будет продолжаться, пока жива поэзия».

Сопоставляя поэмы Н. Бараташвили «Судьба Грузии» и Пушкина «Полтава», Н. Тихонов делает интересные выводы.

Думается, ни один исследователь творчества великого грузинского романтика не сможет пройти мимо этой статьи, интересной во многих отношениях, и особенно с точки зрения оригинального прочтения и восприятия наследия гения грузинской поэзии XIX века русским поэтом XX столетия.

В эту книгу включены также три статьи о трех грузинских друзьях-поэтах Н. Тихонова — Георгии Леонидзе, Сандро Шаншиашвили и Симоне Чиковани.

Первая из них насыщена художественными образами и метафорами поистине в духе Леонидзе. Николай Тихонов рассказывает о нем прямо по-леонидзевски. Говоря о Гогле, он искрами рассыпает фейерверк поэтических образов. Тихоновское восприятие Тбилиси, Цхети, Патардзеули, Бетани, Вере, Гомбори, грузинской природы, среды, феномена поэзии Леонидзе передано поэтической, лирической прозой.

Разве не вводит нас в мир леонидзевской поэзии, разве не благоухают ею такие метафоры Тихонова, как «дымка фазаньей дали» или «первые золотые дожди поэтических строк». А сколько еще таких примеров можно привести! «Сама природа готовила его в поэты», — пишет Н. Тихонов о Георгии Леонидзе.

Когда читаешь эту статью, невольно вспоминается эпопея Георгия Леонидзе. Там тоже природа, среда, история готовят появление героя произведения. Возможно, невольно (ведь Н. Тихонов параллельно переводил эпопею Г. Леонидзе!), а может и сознательно будто в том же художественном ракурсе рисует он появление героя своей статьи Георгия Леонидзе в грузинской поэзии.

Видимо, работа над переводом поэтических шедевров Георгия Леонидзе не прошла бесследно для творчества Н. Тихонова. Столкнулись две большие неумные поэтические стихии — автора оригинала, грузинского поэта, и его русского переводчика (вспомним классическую формулу — переводчик прозы покоряется автору, а поэт — является его соперником). «Столкновение» их высекло новый огонь поэзии, согревающий сердце читателя и этой книги.

В русских переводах стихов Г. Леонидзе поэтический огонь тайлся, как в кремне — искра, в туче — дождь, в желеди — дуб...

Тот огонь высек волшебник слова Николай Тихонов. Из грузинского огня он разжег большой костер русской поэзии, чтобы сделать близким для русского читателя грузинский стих Г. Леонидзе. И Тихонов добился большого успе-

ха: благодаря ему не только Россия, но и Европа ощутили жар леонидзевской поэзии.

Стих Георгия Леонидзе, пишет Н. Тихонов, «рождается почти грубой силой ветрового размаха, но может тут же изменить ход и вобрать в себя всю нежность, всю тревогу, всю тонкость поэтической интонации». При написании этих слов их автор словно находился в плену у гениальной метафоры Г. Леонидзе. «Стих его переливается всеми красками», — заключает Н. Тихонов.

По его признанию, «никакие самые лучшие переводы не могут до конца передать силу этого небывалого стиха и все богатство грузинской поэтической речи, которая как целый искусный оркестр звучит, подчиняясь магии своего создателя».

Это признание тем более значительно, что оно принадлежит признанному переводчику произведений грузинских поэтов, в том числе Г. Леонидзе, человеку, к белым, словно Эльбрус, волосам которого не одну седую прядь добавили раздумья о грузинских стихах. И в завершение портрета грузинского поэта такой штрих: «по жизни проходил веселый исповедник, полный жизнеутверждающей силы. Красавец, песенный силач, образец мудреца и поэта».

Н. Тихонов глубоко убежден, что пристально изучая богатство поэтического мира Георгия Леонидзе, люди удивятся тому обилию лирических открытий, которые таятся в его чарующих, легкокрылых стихах. Ведь «мир поэтических картин и образов поэзии Георгия Леонидзе широк, глубок и неисчерпаем, как сама поэзия». «Он вдохнул молодость в древние предания, и они засверкали».

Разбирая лирические шедевры, поэмы, эпопею Г. Леонидзе, Н. Тихонов вспоминает интересные детали из его жизни и творчества, памятные эпизоды творческого содружества с ним.

С теплотой говорит он о поэме «В Миргороде», в которой поэт описывает свое путешествие по следам Гурамшвили на Украине.

Отдельно рассматривает Н. Тихонов прозу Г. Леонидзе («Волшебное дерево») и называет ее маленьким романом. По определению Тихонова, это — блестяще написанная книга.

Высоко оценивает он также и научную деятельность поэта-академика Георгия Леонидзе.

Выдающийся русский поэт вспоминает дни, проведенные в Сагурамо, ту легендарную радугу, которая позволила ему создать известное стихотворение «Радуга в Сагурамо».

Вообще эта статья о Леонидзе — эхо волнующей поэтической и человеческой дружбы.

Глубоко волнуют также страницы, посвященные патриарху грузинской литературы, старейшему грузинскому поэту и драматургу, преданному другу автора книги — Сандро Шаншиашвили.

Эта статья — своеобразный гимн Хахети, ее древностям и современности, следам Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Чавчавадзе, Важа Пшавела на этой благодатной земле, поэтическому феномену Грузии.

Видного поэта и драматурга Сандро Шаншиашвили, как человека и творца, Н. Тихонов знает лучше многих его соотечественников. Об их дружбе сочиняют легенды и сказания. Это — редкий пример содружества двух писателей. Н. Тихонов прекрасно знает и биографию, и творчество своего грузинского побратима и повествует о них с завидной глубиной, точностью и компетентностью (статья «Сандро Шаншиашвили»).

Тепло пишет он и о стихах Сандро Шаншиашвили («Хахетия» и «Кахетинская невеста»). По его мнению, среди поэм грузинского поэта особое значение имеет поэма «Мать».

Довольно подробно разбирает он и драматические творения Сандро Шаншиашвили — «Арсен» («несомненно, лучшая пьеса Сандро Шаншиашвили из всей серии его пьес на исторические темы»), «Герои Крцаниси» (в этой пьесе, по словам Н. Тихонова, «Сандро Шаншиашвили показал не только самоотверженную борьбу и мужество грузинского народа, но и глубокие корни вековой дружбы и боевого сотрудничества грузинского народа со своим великим другом — русским народом»).

Н. Тихонов касается также и таких драматических произведений С. Шаншиашвили, как «Георгий Саакадзе», «Имеретинские ночи», и других.

С полным основанием он говорит «О театре Шаншиашвили» (в статье сказано, что «им написано двадцать оригинальных пьес и столько же переведено на грузинский с других языков, преимущественно с русского»).

Рассказывает он также об одной интересной семейной традиции С. Шаншиашвили: 9 октября каждого года в семье грузинского поэта объявлено своего рода праздником поэзии (в этот день «в Джугаани могут собираться поэты любых стран и народов во имя дружбы народов на праздник поэзии. Каждый поэт будет принят в Джугаани как святой пилигрим, как самый желанный гость»). Таков, оказывается, девиз праздника в Джугаани. Здесь уже побывали и оставили свои автографы на стенах дома поэты Н. Тихонов, А. Фадеев, Самед Вургун, М. Бажан, Н. Заблоцкий и многие другие.

Самостоятельная статья в сборнике отведена поэзии Симона Чиковани («В мире высоких радостей»), ову-
1969-70
1970-73
в том числе наиболее удачно на русском, украинском и других. Поэты братских народов посвящали и посвящают С. Чиковани стихи, эссе, статьи, издают его книги...

Н. Тихонова связывала с Симоном Чиковани большая дружба. В статье, посвященной грузинскому поэту, его русский собрат тепло вспоминает путешествие в Ламискану, по следам Гурамишвили...

Знарок поэзии Симона Чиковани, Н. Тихонов многие его стихи озвучил на русском языке.

Н. Тихонов дал нам возможность глубоко заглянуть в беспредельный мир прекрасной поэзии Симона Чиковани. Он еще раз раскрыл перед нами то, что увидел его наблюдательный глаз в поэзии Симона Чиковани, показал философскую глубину творчества грузинского поэта, его широкие гуманные масштабы, его интернационализм.

В книгу «Писатель и эпоха» включено выступление Н. Тихонова на VII съезде писателей Грузии. Называется оно «О братской грузинской литературе». Это — документ истории грузинской литературы 70-х годов XX века, названной Н. Тихоновым «передовым победоносным отрядом, которым гордится вся братская семья многонациональных наших литератур».

Это выступление большого друга грузинской литературы, русского побратима грузинских писателей Николая Тихонова имело большой резонанс как на самом их форуме, так и после.

В «Магнитном поле», представляющем ответы Н. Тихонова на вопросы «Литературной России», в центре внимания вновь — грузинская литература.

Когда Н. Тихонова попросили рассказать о наиболее запомнившемся ему эпизоде сотрудничества с писателями братских республик, он отметил встречу с Георгием Леонидзе в Цхнети в 1939 году.

Разговор этот происходил в 1972 году, то есть через 33 года после той памятной встречи. Насколько же впечатляющей она была, если поэт, обещавший почти весь земной шар и встречавшийся почти со всеми известными писателями мира, запомнил ее навсегда!

На вопрос: как взаимодействуют огромный мир переводимого поэта с его художественным миром? — Николай Семенович снова обратился к грузинскому слову «вода». («В слове «цкали», — сказал он, — слышится не только плеск, но быстрота, движение потока...»).

Как должно овеществиться в сознании говорящего на другом языке поэта грузинское слово, чтобы он с таким глубоким проникновением в его природу мог ощутить поэтическое звучание этого речевого феномена.

Для иллюстрации ответа на тот же вопрос Н. Тихонов приводит процесс перевода поэмы Сандро Шаншиашвили «Кахетинская невеста». Он рассказывает, что переводил эту маленькую поэму Сандро Шаншиашвили «в том месте, в

то время года, где поэт писал ее много лет назад». И все поэтическое окружение было перед ним. Однако, по его признанию, это исключительный случай. Он возможен лишь раз в жизни.

В книге «Писатель и эпоха» получила отражение гигантская личность этого большого друга грузинской литературы, грузинской культуры.

Москва — Тбилиси.

СЛОВО ДРУГА

Наш корреспондент М. Немирова посетила Н. С. Тихонова незадолго до его юбилея и задала поэту несколько вопросов. Мы печатаем ответы Н. С. Тихонова.

Более половины своей жизни Николай Семенович Тихонов связан крепкой и верной дружбой с Грузией. Поэтому первый вопрос к нему таков:

— Как и когда эта дружба началась?

— В 1924 году я впервые приехал в Тбилиси. Этот момент для меня был как бы началом какого-то нового открытия — открытия целого мира, замечательной страны, изумительных людей, великолепного искусства. Это страна героическая, страна лирическая, страна рабочая, потому что, несмотря на такой сладостный труд, как труд виноградаря и садовода, передо мной постепенно открывался и рабочий край. Там были не только виноградары, не только садоводы, а там были углекопы, там были добытчики руды. И там были писатели, которые мне открылись в своем творчестве. Я застал раннюю революционную эпоху Грузии: Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе, Сандро Шаншиашвили, Симона Чиковани, Карло Каладзе. Все те, кто сегодня стал классиками грузинской литературы, тогда были еще молодыми людьми.

— А потом — бывали Вы в Грузии?

— Я приезжал в Грузию почти каждый год, ходил по ее дорогам, спускался с гор — я очень люблю горы! — пересекал долины. И постепенно узнал всю республику. Эта республика обладала каким-то молодым задором, здоровьем, красотой, была она — от детей до стариков — полна очарования.

Сегодня в Грузии уже не встретишь многого из того, что было в те далекие годы, когда я начал свои странствования по этой чудесной стране. Там, где я когда-то проходил тропами, сейчас ходят автомобили и автобусы с туристами из разных стран. Даже классическая в своем роде по особому могуществу природных видов Сванетия, где десять вершин превышают Монблан, сегодня доступна и с земли, и с воздуха. А ведь было время, когда она была закрыта для путника девять месяцев в году и только одна тропа вела в ее глубины. Теперь лишь сорок минут полета из Кутаиси — и вы в Местиа, в центре этой чудо-сказки. А люди новой Грузии, творцы нового, жители нового Тбилиси, мастера ферросплавных дел Зестафони, строители плотин, шахтеры, металлурги!

Но остаются горные пути через ледники и потоки, через девственные леса и дикие ущелья. Остаются древнейшие профессии, к каким можно отнести крестьян-виноградарей, пастухов, горцев-охотников.

Ну и, конечно, всегда будут привлекать такие маршруты, которые и сегодня подарят путнику очарование горных озер, встречи с высокогорными вершинами, с природой, уголки которой сохраняют особо привлекательный характер для людей, ищущих новое. Рядом с всемирно известными местами, как, скажем, озеро Рица, лежит замечательная долина Авадхара, которая может

своими природными чудесами заставить полюбить себя да еще помочь поправить здоровье нуждающимся в восстановлении сил. А хакетинские прогулки — от Ахмета до Тамарисцихе — незабываемые маршруты, на каждом шагу цветущая земля представляет и остатки старины, и новейшие методы виноградарства, и все это овеяно поэзией первоклассных поэтов прошлого — и грузинских, и русских.

— Что бы Вы хотели еще сказать о сегодняшнем дне нашей республики?

— В разное время я много ходил пешком по всем краям живописной грузинской земли. Грузия достигла, я бы сказал, таких же высот века, на которые поднялись и остальные наши республики.

Я присутствовал при начале строительства Земо-Авчальской плотины, которая представляет теперь чисто исторический интерес. Сегодня воздвигается плотина при выходе на долину Ингури, где идет комсомольская стройка, одна из пяти в Советском Союзе. Это уже плотина первоклассная в мировом плане. Она объединит все кольцо электросети Грузии. Одна только Ингурская плотина свидетельствует о том высоком уровне культуры, которого достигла эта страна.

Куда бы вы ни пошли, всюду видите это новое. И дороги стали совершенно другими, и средства сообщения, и сам вид городов Тбилиси, Кутаиси, Зестафони, Рустави, которые растут из года в год. Если вы окажетесь у моря, то и там увидите большую жизнь мореходных линий, связывающих и Батуми, и Сухуми, и Поти уже не только с нашими портами на Черном море, но и с международными портами. Вы увидите туристов, приезжающих отовсюду, чтобы познакомиться с новой Грузией, которая не только поражает своей природой, но и дает возможность ознакомиться с древними и новыми красотами этой страны.

— Ваш рассказ о нашем крае, его природе и людях звучит как прекрасная поэма о нем.

— Потому, что можно без конца говорить о Грузии, много писать. О ней много написано, и я сам писал и прозу, и целые книги стихов, ведь прежде всего о Грузии надо говорить стихами.

Грузинское издательство «Мерани» просит, чтобы я собрал все свои произведения о Грузии. Мне предложили издать три книги: стихи о Грузии, прозу о Грузии и статьи о Грузии. Но я мечтаю собрать хотя бы стихи последних лет о Грузии и издать их отдельной книжечкой. На большее не хватает времени...

В кабинете Николая Семеновича висит чеканный портрет Петре Ибери. Он, как и очаровавшие его виды Местиа, Ушбы, Бечо, — свидетельство его неослабевающих уз с Грузией.

— Как попала к Вам эта чеканка?

— Грузинские школьники и сотрудники журнала, посвященного природе, прислали мне этот замечательный подарок. Когда я раскрыл пакет, в нем оказалась работа несравненного мастера Кубы Гурули, чеканный портрет самого древнего грузинского деятеля Петре Ибери. В лучах пышного заката он весь засиял, и его сияние осветило мою комнату; мне показалось, что он улыбается, что ему, по-видимому, понравилось у меня. С тех пор он смотрит со стены в моем кабинете.

Там же, на письменном столе его хозяина, стоит копия статуи «Картлис дед» работы Элгуджи Амашукели. Глядя на нее с особой теплотой, Николай Семенович говорит:

— Грузинская женщина — это явление необыкновенное! Она воспета лучшими поэтами, она увековечена в живописи, скульптуре, и сама могла быть тоже мастером, вроде Тамары Абакелия, изумительного, замечательного мастера скульптуры. Почти нет такой профессии, в которой не трудилась бы женщина-грузинка. И этот труд расширил ее кругозор, вывел ее в большие общественности. Среди депутатов, заседающих в Верховном Совете СССР, депутатов, облеченных высшей правительственной властью, — женщины-депутаты из Грузии.

Много женщин и среди депутатов местных Советов. Женщина-депутат — это стало настолько популярным, что даже в отрывном календаре я как-то прочел очерк о Герое Социалистического Труда Марии Чихладзе, которая прошла большой путь самообразования и около двадцати лет бесменно руководит своим дружным коллективом, Коммунистка, Герой Социалистического Труда Мария Чихладзе — заслуженный работник сельского хозяйства Грузинской ССР, неоднократная участница ВДНХ.

— Таких славных женщин много во всех областях народного хозяйства Грузии.

— Да, я уже не говорю об артистках, широко известных не только у нас, но и за границей, о художницах, писательницах, книги которых читают во всем Советском Союзе. Одним словом, в любой области вы найдете великих представителей, и это говорит о том, что Грузия сегодня находится на высоте достижений века, Помноженная на достижения современной науки, эта страна древнейшей культуры сохранила черты национального характера, добавив к нему все лучшее, что дала народу вековая борьба за свободу и независимость, борьба за Советскую Грузию.

Николай Семенович задумывается, видимо, возвращаясь мыслью в прошлое, и говорит:

— В 1942 году немцы рвались к Кавказу. Я был потрясен. Я думал, чем бы помочь. Если бы я не был в Ленинграде, — черт побери! — я был бы на Кавказе, защищал бы Грузию и ее горы. Я написал статью о горной войне, статью напечатали в «Красной Звезде». А потом написал «Обращение к народам Кавказа».

— Я обращался к народам Кавказа, обращался к их прошлому, называл героев, призывал к борьбе, — вспоминает Николай Семенович. — Это «Обращение» напечатали в «Красной Звезде». Когда немцев отогнали от Кавказа и стали приезжать участники кавказской битвы, они рассказали, что это мое воззвание сделали листовкой и распространили по всему фронту.

Несколько лет назад мне попалась статья, напечатанная на Кавказе, и в ней было написано: «Он защищал Кавказ» — это про меня. А в одной из передовых газетных статей, в которой говорилось, что кавказцы защищали свой край «по чести предков», приводились слова старой горской песни: «Обуглись, но выстой — выхода нет». А это из моей поэмы о Кавказе «Дорога». Вот интересно, — улыбается Николай Семенович, — мои стихи горцы сочли старой горской песней!

Воскрешая в памяти годы Отечественной войны, великие поля сражений, невольно вспоминаешь и самые небольшие участки, на которых история испытывала мужество советских людей. Если под Москвой есть Дубосеково, маленький такой уголок, где бились насмерть 28 панфиловских гвардейцев, то, скажем, в Грузии мы найдем место, которое мало посещается даже туристами, но которое сыграло свою историческую роль в этой великой борьбе. Это — Санчарский перевал, который открывает и одновременно закрывает дороги с севера и в Абхазию, и в саму Грузию. В 1942 году, когда немецкие горнострелковые части овладели этим перевалом, было ясно, что надо отбить его во что бы то ни стало, преградить врагу путь, выведивший и в Абхазию, и к берегам Черного моря, и в долину Куры. В этой битве проявили большое героическое и наши регулярные войска, и курсанты Тбилисского артучилища. Насмерть сражались они с «эдельвейсами», пока не сбросили их с перевалов и не одержали полной победы над ними, изгнав из наших гор.

Грузины защищали Военно-Грузинскую дорогу, на которую стремился прорваться враг. Они участвовали в битвах за Керчь, за город Орджоникидзе. Сколько славных дел совершили грузины-воины вместе с представителями всех народов нашей страны на фронтах Великой Отечественной войны! Стоит упомянуть хотя бы одно только имя Героя Советского Союза генерал-полковника Константина Николаевича Леселидзе. Он и его солдаты защищали родные горы Кавказа, разбили фашистов у входа в Грузию, освободили Новороссийск, Тамань, воевали в Западной Украине, защищали в самые тяжелые дни столицу Советского Союза — Москву. Пять раз салютовала ему и его героическим войскам Москва. Старое героическое прекрасно звучало в новых подвигах. Недаром такая решающая операция, как план разгрома фашистской группы армий «Центр» и фашистских армий в Белоруссии, носила кодовое название «Багратион». А разве не самым ярким победным символом боевого братства всех народов Советского Союза был завершающий подвиг последних дней войны, когда советские витязи Михаил Егоров и Мелитон Кантария в ночь на Первое мая водрузили Знамя Победы над зданием рейхстага в Берлине?!

Так умножалась воинская слава сынов Грузии, так умножалась слава и каждодневного труда, сделавшего сегодня Грузинскую Советскую Социалистическую Республику передовой, прекраснейшей, обещающей дальнейший расцвет жизни грузинского народа. Народа, который живет и трудится сейчас в обстановке небывалого подъема творческих сил, когда каждый гражданин ощущает на себе новый стиль в руководстве республикой и сознает свою личную ответственность перед общим народным делом.

Галактион ТАБИДЗЕ

Н О В Ы Е

გალაქტიონ ტაბიძე

П Е Р Е В О Д Ы

ПРИМИРЕНИЕ

Играет небо облаками,
пространство движется рывками —
клубится — рушится — летит —
на миг единый воплотит

мятущуюся душу марта,
не позаботясь сохранить...
Держу я ветреную нить —
храню гармонию Моцарта

и — гость сияющих вершин
в венце из яхонта и лавра —
стою блистательно и явно
среди людей, среди машин.

Я праздную великий миг —
я начинаю Книгу Чисел —
я жизнь воспел и смерть возвысил,
и нет разлада между них!

Итак, прекрасно все. Итак,
был снег и облака клубились.
А месяц май — прохладный ирис.
Я загляжусь в лиловый мрак...

1915

ТОПОЛИ В СНЕГУ

Алмазный невесомый свет —
глубокой синевы мерцанье,
Торжественное созерцанье:
ни слова, ни дыханья нет.

Наполнены голубишной
воздушные литые чаши —
оледенелое зедаше,
где вспыхивает синий зной.

В алмазы убрана земля
и холодеет как невеста.
Заковано мгновенье жеста:
к луне воздеты тополя.

Плывет гора как белый конь,
толпятся строго кипарисы —
до пят серебряные рысы...
Неуловимого не тронь.

Цветет как лилия луна
на звездной глубине и черной,
Но красоте неизреченной
душа моя обречена.

1915

ТЫ ЖДЕШЬ!

Не жди от меня молений —
мне жалок любовный бред
и сил моих нет.
Есть гений Любви
и Смерти гений,
а середины нет.

Сердце теперь смеется
над тем, что любило оно.
Ему все равно.
Искренности не остается,
и жизни не остается,
и воскресения не дано.

1914

УТЕШЕНИЕ

Есть утешение пределов светлых
и прошлого отрадная далекость
и в глубине желаний сокровенных
забвения торжественная легкость.

Ночные небеса — арена брани
безмолвно-синие несутся кони...
Приходит Ведающая заране
распутать линии моей ладони.

Она услышит тишину — не выстрел,
она утешит, сладостная пери:
цвет не сгорел и плод еще не вызрел,
все совершится — не страшны потери...

Пути поэта — облака и воды,
но я измучен славою слепую...
В такие дни, в туманные погоды
со мною ты, и я храним тобою.

А то, что было, быть не перестанет,
насытит гладных и утешит бедных,
и надо лбом толпы как перст восставит
светильник помыслов моих заветных!

1916



* * *

Вино туманно-голубое,
Шопена гордая молитва,
колеблемая над резьбою
чернофигурного попюитра.

Пока мнутся
Паганини
неистовые заклинанья,
стоят — листа не проронили —
осинники над Алазанью.

Порыв мятежный и высокий
равнине той себя вверяет,
и шелестение осоки
все страсти умиротворяет.

Отчизна песни не отвергнет,
а слезы непроизносимы.
Как пламя, вспыхивая, меркнет
в ресницах Алазани синей!

1919

* * *

Сугроб нарциссов и фиалок —
и гроздь глицинии вслепую
свисает с почернелых балок,
где пуля попадала в пулю.

А тополек стоит на страже
ресниц твоих и занавесок,
и тем острей идея кражи
и мрачные крыла черкесок.

Веселые невестокрады!
А кровь, не вольная пролиться,
исходит розами ограды,
а ты поражена бледницей.

Да сохранят тебя от сглаза!
Но сохранят тебя едва ли —
и льется линия Ширази
вдоль тополиной вертикали.

Смоковница укоренилась
в библейском кирпиче железном,
и неизбежна божья милость
на одиноком и болезном.

Первоначальные восторги
обвалу холода подобны,
а Очи Дремлющие зорки
и памятьливы, и подробны...

Так пропадает середина
и дышит эпилог в романе,
где постепенно и едино
все тонет в ветре и тумане.

Балкон и милые ступени
и тополь твой праздностоящий...

Все поравняет снег забвенья,
снег более чем настоящий.

Но как мучительно и звонко
уходит бытие и рвется!
Дано мне сердце олененка!
Дано мне сердце раторборца!

Воскресни — говорю — воскресни,
цвети, оазис Ортачала —
и слезы, и весна, и песни,
и все — иначе, и все — сначала!

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА

СТАРЫЕ ЖЕРНОВА

Эти жернова,
Эти жернова...
Горечь тяжких дум
В памяти жива.

Солнечный овал
У дверей дремал,
Приволок мой дед
Эти жернова.

Я готов взлететь,
В поднебесьи петь,
Да мешают мне
Эти жернова.

Я бросаю взор
На вершины гор,
Давят, как ярмо,
Эти жернова.

Я сказал: — Вперед,
Сила силу гнет!
Отчего ж стоят
Эти жернова?

Эй, сюда, скорей
Вихри всех морей!
...И пошли живей
Эти жернова.

Жесткий камень крут,
Дети хлеба ждут,
Крутятся, бегут
Эти жернова.

Вихревой порыв
Над раздольем нив,
Подпевают им
Эти жернова.

1952

Перевод
Даниила ДЖАНАШВИЛИ



КОТОРЫЙ ЧАС!

Еще рассвет не настаивал,
Бессонницей в висках стучась,
Покоя не дает тоска.
Который час? Который час?

В оконной мгле лишь ветра вздох
И мокрых листьев дикий пляс,
Быть может, нет еще и трех...
Который час? Который час?

Два или три — мне невдомек,
Как будто свет навек погас.
Звучит тринадцатый гудок
Со станции... Который час?

А длинный коридор как сон
Сквозь сумрак воспаленных глаз...
Вдруг телефона нервный звон.
Который час? Который час?

Осенний дождь все льет и льет,
Потоками в стекло стучась.
И все никак не рассветет...
Который час? Который час?

Бодлер сказал бы: «Пьяных грез,
Очарованья горький час».
Так отвечал он на вопрос —
Который час?

1914

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

РОЗА НА ПЕСКЕ

О, мать божья, светлая Мария!
Как роза на песке, омытая дождем,
Взор устремляя в дали голубые,
Не знал я, что к земле навеки
пригвожден.

Затянет ночь расщелины туманом,
Но если вновь забрезжится заря,
Бессонницей и хмелем одурманен,
Я припаду к подножью алтаря.

Забыв о сне, о горечи похмелья,
К сырой стене прижавшись головой,
Увижу, как в распахнутые двери
Вольется луч лавиной огневой.

И я скажу: смотри, перед тобой я —
Печальный лебедь, раненный мечтой.

Что ж, насладись поруганной судьбою
Бессильем рук, измученной душой.

Ты помнишь время — только лишь
веселье
Из глаз моих безудержно лилось,
Теперь, устав от горечи похмелья,
Они полны невыплаканных слез.

О, неужели так со всеми будет,
Кого к тебе поток мечты увлек;
Душа моя, молящая о чуде,
В огне лампад горит, как мотылек.

О, где тот край, где сладкая награда
Мне будет искупленьем за потери,
Где буду я навек спасен от ада,
Как некогда от рая Алигьери?

Когда ж придет конец стезе страданья
И впереди увижу смерти тень я,
Знай, на моем последнем покаянье
Я от тебя не стану ждать спасенья.

Сложу персты, и огневой метелью
Меня умчат стремительные кони,
Усталый от бессонницы и хмеля,
В земле навек я буду похоронен.

О, мать божья, светлая Мария,
Как роза на песке, омытая дождем,
Взор устремляя в дали голубые,
Не знал я, что к земле навеки

пригвожден.

1917

Перевод Паолы УРУШАДЗЕ

ВЕТЕР

Ветер зол, ветер рвет все вокруг,
Мчит с собой листьев рой по пути,
Гнет деревья к земле, гнет в дугу,
Отзовись: где же ты, где же ты?

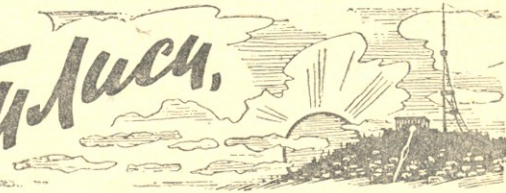
Сыплет дождь, сыплет снег,
сыплет снег;

А тебя не найти мне вовек...
Он всегда и везде предо мной
Наяву и во сне, образ твой!

Сквозь туман не видать солнца круг...
Ветер зол, ветер рвет все вокруг!...

1924

Перевод Зураба ГАБУНИЯ

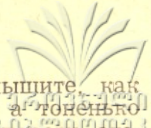


Тбилиси,
ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ НЕБО

● П о в е с т ь

МОНОЛОГ О ТБИЛИСИ И ТБИЛИСЦАХ


ЧАСТО ЛИ МЫ, теперешние горожане, видим небо? Не вообще небо, не где-нибудь, не то праздничное, с прославленными и на все лады воспетыми восходами и закатами, которое нам «выдают» по предъявлению курортных или туристских путевок, а то, что всегда, и днем и ночью над нашим городом — голубое или черное, ясное или хмурое, плачущее или смеющееся, холодное или теплое, яркое или блеклое, короче говоря, наше обыденное, повседневное небо. Городское. Спросите себя поостроже, когда вы смотрели на него последний раз, и окажется, что это было утром, в начале прошлой недели, когда, недовольно поглядывая из комнаты на тяжелые низкие облака, вы торопливо — как бы не опоздать на работу — соображали, что взять с собой ввиду возможного дождя: новый, еще ни разу не испытанный зонтик или старый, изрядно потрепанный, но зато определенно непромокаемый плащ. Признайтесь (самому себе признайтесь, поскольку никто еще не додумался потребовать вас за такое к ответу), что вы, ну, скажем, за последние полгода ни разу не подняли кверху глаза, когда над вами в тбилиском небе пронесся реактивный корабль. А они — большие и малые, отлетающие и прилетающие — все чаще и чаще (пока еще в зависимости от погоды, слава богу. Случается, что их и по несколько суток не слышно) врываются в наше небо. Как будто из ниоткуда врываются, так это каждый раз внезапно (внезапно, конечно, для тех, кто все же увидел или услышал) — ведь только что, только мгновение назад его здесь не было, и поэтому как-то не верится, что и где-то ТАМ он мог быть. Вот и думаешь: ИЗ НИОТКУДА он, ИЗ НИЧЕГО. Но это явно бесосновательная мысль, игра воображения, не больше, поскольку он, то есть самолет, и ТАМ был и ЗДЕСЬ есть и не один какой-нибудь, а, случается, и два и три одновременно — в разных секторах, на разных этажах тбилисского неба. Иные летят на почти абстрактной, труднопредставляемой высоте, другие же, наоборот, слишком, до жути низко, чуть ли не на уровне телебашни, что на горе Давида, а может, и ниже, и режут они при этом, особенно те, что летят невысоко, с такой вулканической силой (а каждый реактивный лайнер это и в самом деле несколько микро-вулканов, посмотрите на сопло реактивного двигателя, это же кратер), что сотрясают не только небо, но и землю, а все оконные и дверные стекла — сколько их в Тбилиси? Миллион? Два? — беспрестанно дрожат, как в гриппозной лихорадке, дрожат от нестерпимого шума, а когда ненадолго становится тихо, — от нестерпи-



мого страха, что он снова непременно вернется. Непременно. (Слышите, как обессиленно звенит стекло в вашем окне, и даже не звенит уже, а тоненько жалобно скулит, словно подобранный к чужому равнодушному порогу чуждой кутенки? Слышите?). Дрожат, дрожат, и вдруг — и я ни чуточки не удивлюсь тому, что произойдет, — все разом, со всех окон, дверей, балконов, галерей, лоджий сиганут вниз. И об землю. Об асфальт. И вдребезги. С громким, чуть ли не на весь мир, прощальным звоном вдребезги. На миллиарды мелких и мельчайших осколков.

Нам, горожанам, конечно, будет от этого немалый убыток, но у кого язык повернется осудить самоубийц. Нельзя же, в самом деле, всю жизнь дрожать, хотя бы и для блага технического прогресса. Да и какое ж это благо, и какая это жизнь, если дрожать? Говорят, будто гранит и металл и то не выдерживают такой губительной дрожи, что даже их убивает шум, а это ж стекла, они ведь хрупкие и какие-то, на свою беду, очень уж нервные, впечатлительные, звукочувствительные. Вот и не выдержали, вот и выбросились. И ничего удивительного. И не так уж оно, это самоубийство стекол, фантастично, если возникло оно в весьма и весьма прозаическом воображении прозаика. И если чему удивляться, то, конечно, нечувствительности иных наших горожан; происхождение которой для меня пока неразгаданная загадка. Впрочем, есть у меня несколько, так сказать, наводящих предположений: иногда я склонен думать, что нечувствительные эти сотворены из иного, чем мы, чувствительные, материала. Из какого-то сверхпрочного. Возможно и то, что такая нечувствительность порождена самогипнозом. Уговорил, внушил себе такой самонадеянный человек, что его способность приспособиться к любым обстоятельствам, к любому образу жизни безгранична: отныне и всю жизнь вниз головой — ну что ж, ради забавы и часа в таком положении не выдержу, а ради жизни — смогу, приспособлюсь. Всю жизнь в котле с кипящей смолой — ну что ж, хоть жарковато будет, но все равно смогу, приплюснусь, притерплюсь. Отныне в абсолютной, как говорится, «гробовой» тишине, или, наоборот, в непомерном, адовом шуме... И на это тоже доброе, самоуверенное, безоглядное: могу, смогу, одолею... И это, заметьте, вопреки утверждениям науки, считающей, что всемогущий человек тут явно заблуждается, что есть, есть пределы его телесным (в данном случае говорится о телесных) возможностям. Пределы. Барьеры. И еще какие! Взять хотя бы проблему шума, поскольку о ней уже шла речь. Передо мной таблица, вырезанная из солидного журнала, в которой черным по белому напечатано следующее: вредная для здоровья человека граница громкости — 90 децибел (шум от мотоцикла 104 децибела, автор об этом для сравнения напоминает); при достаточно продолжительном воздействии эти 90 децибел — и глухота, и опухоль желудка и кишечника, и нарушение кровообращения, и закупорка сосудов, и агрессивность, и множество других недугов; длительный звук в 155 децибел вызывает ожог (эта цифра, 155, выделена в таблице курсивом), а громкость в 180 децибел смертельна для человека (цифра 180 тоже выделена курсивом и напечатана красной краской). Таблица эта широко известна. Широко, но далеко не всем. Мне, например, нередко приходится слышать, как люди в злости, в обиде, в гневе желают своим недругам или обидчикам: «а чтоб вас громом поразило», но это не значит, конечно, что они только что проштудировали эту самую таблицу. Наоборот, — они, по-моему, понятия о ней не имеют, скорее всего это совершенно не информированные о новейших постижениях науки люди (обо всей науке, вернее, обо всех науках я, разумеется, сейчас не говорю, а только о той, что занимается звуком, шумом). Вот и продолжают они по старинке (сто или двести лет назад было то же самое: а чтоб тебя громом...) отождествлять гром с молнией — отождествлять, может быть, и потому, что безмолвная, а значит, дальняя молния-зарница не опасна. А вот когда она сверкнет и громыхнет над головой почти одновременно (почти — это разница в скорости света и звука), тогда берегись!..


Но, может, дело тут не в отождествлении, а в подмене одного понятия другим... В несправедливой подмене, как думал я до недавнего времени. И даже поругивал, бывало, наших несправедливых прапра: хороши! Сиятельная молния на виду у всех совершает злодейство, а вину — на гром. За что, спрашивается? За то, что он невидим? Лично я не отождествлял и не подменял, поскольку еще в детстве, в рамках школьной программы, был информирован о том, как и чем молния и гром взаимосвязаны, чем и как они друг от друга отличаются. Но знал я об этом, как и многие неспециалисты, и очень поверхностно, и далеко не все. Так, например, до недавнего времени я не подозревал даже, что гром — небесный или земной, естественный или искусственный — так же, как и молния, способен поразить, искаличить, убить, испепелить. (И испепеляет, сражает, убивает: недавно я прочитал в газете со-



общение из ленинградского зверосовхоза «Заря», где разводят пушных артистократов, потомков «Кривого зуба», знаменитых черных соболей. И что же — сильный шум вызывает у соболей такую реакцию, что зверь гибнет от нервного удара. Пришлось отказаться от механической раздачи корма. Ах, умницы, ах, молодцы звероводы — догадались!) А я еще посмеивался над теми, кто грома боится, а я еще защищал его как безвинного, безобидного громыхалу. Вот что значит неинформированный или запоздало информированный человек! Ну а те, которые так самонадеянно утверждают «могу, смогу», — они самые, уверяю вас, самые информированные люди, они, по моему, информированы обо всем на свете, ибо жадно и неутомимо черпают информацию из множества источников — и таких традиционных, как урок, лекция, газета, журнал, книга, и таких сравнительно новых, как радио, телевизор, кино. И о грозной таблице шумов с ее роковыми децибелами они, разумеется, тоже информированы и, несомненно, знают ее на зубок. И что же? А ничего! Информация, все новая и новая информация, от которой у иных людей холодеют в ужасе сердца и опускаются руки, на этих ничуть не влияет, и они с не меньшей, чем прежде, уверенностью продолжают утверждать свое «смогу, могу». И представьте себе, они не только утверждают, что могут, но и в самом деле, к великому удивлению таких, как я, могут приспособливаться, приравниваться, привыкать к, казалось бы, невозможному, невероятному. И с точки зрения науки невозможному, невероятному — вопреки ей, вот именно, вопреки; и с обычной, житейской точки зрения. Вопреки ей. Вопреки...

Но все же, пожалуй, обе мои версии несостоятельны: для таких прыжков в невозможное, невероятное одного самогипноза маловато. И не в каком-то сверхпрочном материале тут, если разобраться, дело, — надо думать, на всех нас отпускается один и тот же материал, — а, скорее всего, в какой-то особой комбинации генов. И вот те тбилисцы, которые с «особой», легко и быстро привыкают к тому, к чему другим тбилисцам вовек не привыкнуть. И что уж вовсе поражает — эти с «особой» с не меньшей легкостью и, как говорится, в том же темпе отвыкают, а еще точнее, отказываются от такого, что от истинного тбилисца, как мне прежде казалось, даже с кожей невозможно отодрать. Только вместе с душой, пожалуй. Да, только с душой. А этому, особо перекомбинированному, хоть бы хны. То, от чего он отказывается, от чего отвыкает, для него что-то вроде тополевой пушинки на рукаве: дунул — и нету ее. И можно, не останавливаясь, не задерживаясь, — дальше. На все возрастающей скорости — дальше. И вот, он, давний, а может, и коренной, потомственный тбилисец пронесится на своем сверхрезвом малиновом или зеленом, или оранжевом, или золотистом «Жигуленке» мимо вас (А вы, конечно, не безымянный икс. У вас, разумеется, есть имя — ну, допустим, Сергей Петрович. Хорошее имя. Уважаемое. Только разрешите мне, автору, называть вас проще, но не менее почтительно: Серго, товарищ Серго, батона Серго, поскольку так принято в нашем городе. Позволяете? И даже с удовольствием? Вот и спасибо.), мимо вас, медленно, постаротбилисски степенно и медленно идущего по тротуару, пронесится. Пронесся и исчез. И хотя у вас нет видимых оснований сомневаться, что за рулем «Жигулей» сидел ваш многолетний знакомый, ну, скажем, по имени Ларик (считай, что почти четверть века знаемый, и потому для вас, как и в юности, и навсегда Ларик, а не Лавросий Михайлович), вы как-то не очень уверены в этом. Не очень-то уверены вы и в том, что нечто малиновое, промелькнувшее перед глазами, — автомобиль «Жигули», то есть металл и синтетика, а не некое, скажем, малиновое (зеленое, золотистое, оранжевое) облако, гонимое бешеным ветром, или даже — в зависимости от скорости, на которой это пронеслось мимо вас, — сам ветер — малиновый ветер (а может, зеленый, а может, оранжевый) — малиновый, а может, золотистый вихрь...

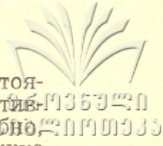
Но сомнение тоже промелькнуло и исчезло. Нет, нет, обознаться вы не могли. Никак. И уж кого-кого, а Ларика — и потому что он приметен: шевелюра, брови, подбородок, да и просто потому, что он Ларик, ваш близкий приятель, — вы узнаете среди миллионов. Так что же это с ним? Зазнался Ларик? Забурел? Возгордился тем, что восседает в собственном лимузине? Бывает и такое с людьми. К сожалению, бывает или еще может быть. Но только не с Лариком. С умным, благородным, дружелюбным, демократичным Лариком такая глупость, такая мерзопакость никак не могла и не может приключиться. Так что ж это выходит — значит, он просто не увидел, не заметил, не узнал? Ну, положим, сердитесь вы. И как не рассердиться, да это явный вздор, подскананный тайным желанием, если не полностью оправдать, то хотя бы немного смягчить вину Ларика. Только вздор и чепуха, как известно, остаются чепухой и вздором, как их ни смягчай, чем их ни разбавляй. И наш случай, разумеется, не исключение. Ну са-



ми посудите, — это вы, батоно Серго, уже ко мне, пишущему эти строки, в запальчивости обращаетесь, — сами подумайте, как это Ларик, мой старший друг, мой старый приятель, умудрился не узнать меня. Сделай для себя план стическую операцию — тогда другое дело. Но и то... Некоторые наши горожанки — девицы и молодые дамы — в буквальном смысле меняют себе носы. Есть у нас в городе такой мастер, он при помощи своего обыкновенного скальпеля совершает с женскими носами чудеса: кривые — выпрямляет, длинные — укорачивает и т. п. Батоно Серго знает двух, а то и трех таких преобразенных девиц. И автор тоже знает одну такую девушку — длинный, крючковатый нос страшно искажал ее, вполне нормальное во всем остальном, лицо. Короче говоря, все в этой девушке, кроме ненормального носа, было совершенно нормальным, и если приглядеться, то достоинства ее... но кто тогда думал о ее достоинствах? Многие их просто не замечали — потом, потом их все сразу заметят, — а наоборот, все прежде всего замечали ее уродливый нос, потому что он сам нахально бросался людям в глаза.

Нетрудно представить себе, как страдала невезучая эта девушка, но, умница, она ни при каких обстоятельствах не обнародовала своих страданий, а иногда даже иронией и шуткой старалась показать, что ей, современной, интеллигентной девушке, все это нипочем. У меня есть две ее фотокарточки — на одной она собственноручно написала: «Баба-яга в юности», а на другой: «Я — и мой злейший мучитель, мой неразлучный враг», и тонкая стрелочка от слова «враг» к носу, чтобы всем было ясно, о каком мучителе и неразлучном враге это написано. Это была горькая шутка, это была горькая правда: и то, что мучитель, — и еще какой; и то, что враг — самый заклятый и самый ненавистный; и то, что неразлучный. И в самом деле: с любимым врагом человека рано или поздно либо жизнь, либо смерть все равно разведет, разведет, разлучит. А с таким вот человеку суждено помирать в обнимку. Безразлично жить и безразлично помирать — таков безжалостный приговор. А девушка наша, умница, против него взбунтовалась. И обратилась к мастеру-хирургу. И тот своим скальпелем отменил беспощадный, несправедливый приговор. И автор только ахнул — про себя ахнул, не вслух, — когда впервые увидел девушку после операции. Это была, несомненно, высокохудожественная работа — ее новый носик, чуть-чуть вздернутый, и от того прелестно-лукавый и прелестно-зазорный. Раньше такая прелесть на языке ценителей женской красоты именовалась: «пикантный носик»... Что ж, правильно, — подумал автор, — он и пикантный, и очаровательный. И все в этой девушке стало очаровательным. И автор сказал ей об этом и добавил по старой дружбе откровенно: «Просто глазам своим не верю... Вы ли это?». А девушка счастливо рассмеялась — прежде она так не смеялась: «Это я, но не совсем я... Перед вами заново и основательно отредактированное творение господина бога. Я дарю вам, дорогой друг, этот сюжет для нового произведения — можете написать богоборческий и вполне атеистический роман, но лучше напишите волшебную сказку, если, конечно, верите в волшебства и чудеса». «Верую!» — с энтузиазмом сказал автор. А что еще он мог сказать, глядя на это рукотворное чудо!

Думается, что и с батоно Серго произошло то же самое, когда он впервые увидел работу мастера-хирурга. Наверное, и он изумлялся и восторгался. Но мы оставили батоно Серго на бурном, шумном уличном перекрестке. Оставили сердитым, негодующим. Еще бы. Те девицы заменили себе носы, а их, переделанных, перестроенных, тем не менее все узнают. И приятели, и просто знакомые узнают, — возмущается батоно Серго. — А у меня, слава богу, все тот же, мой постоянный, наследственный нос с горбинкой, а Ларик, фюйть и мимо! Насчет своего носа я, конечно, просто так — без хвастовства, но и без огорчения. Нос мой ничем особым от множества тбилисских носов не отличается, он самый, что ни на есть заурядный. И уж тем более не собираюсь я утверждать, что я, Сергей Петрович, ничуть не изменился за годы нашего знакомства с Лариком. Изменился. Основательно. Встретились мы молодыми, черноволосыми витязями, а сейчас и седина у меня в волосах, и морщины, и... Да что тут перечислять — есть у меня все, что имеется у всякого пожилого — факт, что пожилого — человека. Но ведь Ларик уже видел меня, и неоднократно видел, вот таким пожилым, потому что я уже не первый год пожилой. Это теперь мы все реже и реже видимся, а раньше, бывало, хоть раз в неделю мы непременно встречались. И, само собой разумеется, Ларик меня всегда узнавал и замечал. Даже издали — с другой стороны улицы или с другого ее конца. Я Ларика, бывало, еще не вижу — я несколько близорукий, а Ларик у нас остроглазый, дальновзоркий, — но уже слышу: «Серго, подожди, дружище!». И я или поворачиваюсь, если Ларик у меня за спиной, или просто подымаю голову, чтобы увидеть его, и мы оба степенно, не спеша — ни он от меня не убежит,

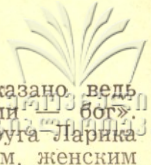


ни я от него — идем навстречу друг другу, еще на ходу, еще на расстоянии обмениваясь приветствиями и самыми срочными новостями. А встретившись, мы долго — сколько хочется, сколько нравится, сколько надобно, сколько возможно — стоим и, как шутят тбилисцы, «крутим друг дружке пуговицы», то есть говорим, — не торопясь, понятно, говорим, не по-телеграфному, а раздумчиво и степенно, мы ведь не девчонки-попрыгуньи, не кумушки-тараторки, мы мужчины — говорим, пока не наговоримся всласть. И никто, конечно, нас не упрекает за это, хотя иной раз мы даже посреди тротуара, буквально поперек движения стоим, и все равно никого это не раздражает — в Тбилиси это испокон веков свято, когда друзья-приятели вот так стоят и разговаривают — и людской поток деликатно обтекает нас. Мы ему явно не мешаем, и он нам нисколько. Затем мы так же не торопясь и так же степенно гуляем по проспекту Руставели — в Тбилиси много прекрасных улиц, прогуливаться по котором после трудов и всяческой деловой и бытовой суеты превеликое удовольствие.

Наш Серго очень любит бродить по улицам любезного его сердцу города. «Что может быть слаще таких прогулок», — сказал ему однажды Ларик. Тогда он еще мог такое сказать — интересно бы послушать, что он теперь об этом говорит, — тогда он еще имел на это право. Тогда он еще бродил, прогуливался, ходил... На своих двоих ходил — на природных. А теперь, похоже, на своих природных ни шагу... Автолюбы, они такие — будь это возможно, они бы и в одно местечко на своем авто... в то самое местечко, куда, если верить преданиям, даже всемогущий, всевластный царь пешком ходил. Царь пешком (ах, да то царь! Царь по имени Горюх, а это ж такая пронафталиненная древность, такая дремучая отсталость, что и говорить не о чем), царь на своих двоих, а автолюб на четырех чужих (они хоть и купленные на «кровные», а случается и не на «кровные» приобретены, а все одно чужие — поскольку приставленные, поскольку привинченные) — снаружи фасонистых, а внутри пустых, пустой надутых чужих... Нет, не хочет автолюб больше ходить, баста, он свое отходил, и не уговаривайте... А его последнее время все усерднее и усерднее, разными способами — по радио, с кафедр, со страниц газет и журналов, с телеэкранов — на разные голоса уговаривают: «Опомнись, ты обрекаешь себя на преждевременную гибель — побольше сам, вот именно сам, двигайся, побольше ходи на своих... Вот именно — ножками, ножками», — советуют, доказательно убеждают и даже умоляют озабоченные его мрачным будущим врачи-человеколюбы и разные другие не на шутку встревоженные его неразумным, самоубийственным поведением гуманисты. А он только плечом поводит: мол, зря вы так стараетесь, зря страшаете, все равно вы меня уже не спешите. Дудки.

Так оно, пожалуй, и есть — не спешить его. Никакими уговорами не спешить его теперь. Никакими словами не оторвать от его новых, «дутых» четырех конечностей (раньше о четырех подобранных для повозок колесах говорили: стан, Красиво. А теперь по-иному говорят, поскольку теперь у многих совсем иное понятие и о колесах, и о красоте. Вот и я сказал об автомобильных колесах «дутые конечности». Уродливо, сам понимаю, что уродливо, и все же сказал. Нет, нет, он вам уже больше не ходок, отныне и навсегда он только ездок, хотя на четырех этих не только не ходят, но даже не ездят, а мчатся, несутся, чуть ли не лётом летят. Шутка ли — шестьдесят километров в час (это в городе скорость ограничена шестьюдесятью, а за городом с ветром наперегонки. С сильным, почти ураганным ветром), это километр в минуту, это всего за минуту, за чистую минуту — задержки у светофоров не в счет — вдоль всего проспекта Руставели, на что у нашего батона Серго с его излюбленным и неизменным прогулочным шагом, почти час уходит (лучший час любого, даже самого удачного, самого счастливого дня. Во всяком случае — один из самых лучших). Потрясающая разница в скорости, не правда ли? А вы еще хотите, батон Серго, чтобы на такой скорости человек заметил и приветствовал вас? Разве у вашего Ларика десять глаз? А двух для автомобилиста, честное слово, маловато, ведь он в течение секунды, в среднем, десять раз должен сориентироваться в уличной обстановке, в течение минуты не менее двух раз он должен принять решение: тормозить или увеличивать скорость, поменять ли ряд или... а каждые два часа, по той же статистике, он сталкивается с критической ситуацией. А это уже вопрос свободы и несвободы, жизни и смерти. Понятно? А проверьте у него сейчас пульс и давление... можете не сомневаться — почти вдвое больше вашего. Так что можно только пожалеть Ларика, честное слово, можно пожалеть.

Батон Серго молча, и тем не менее решительно, отверг это мое явно неуместное вмешательство — дружба дело тонкое, и негоже посторонне-



му совать в него свой нос. Нетактично это, да и бесполезно. Сказано, ведь в одной старинной книге: «С врагами нас меч рассудит, с друзьями — бог». мудро сказано, одобрил батоно Серго, жаль только, что у моего друга Ларника теперь новый бог, с неприятным мне, с некоторых пор неприятным, женским именем — СКОРОСТЬ.

Впрочем, имя как имя, и бог как бог, и ни Ларика, ни его богу я не судья. И, тем более, не враг. Нет, не стану я, тбилисец, враждовать с человеком только за то, что у него другой бог. Знаю, сьть на свете города, где люди из-за этого враждуют, воюют и убивают друг друга. Горе и позор тем городам, тем людям. У нас, у тбилисцев, такого никогда не было, нет и не будет. Бывало, что пришельцы-завоеватели пытались нас растоптать, обескровить, истребить во славу своих богов. Бывало такое. И не раз. Но что-бы мы сами... Нет. Никогда. Потому что по нашим, тбилиским, понятиям, разнoboжье никак не может стать поводом для вражды, никак не может быть помехой для любви, для дружбы и добрососедства. На великой веротерпимости стоял и стоит наш Тбилиси. Одну тысячу пятьсот лет стоит. И еще много раз по столько стоять будет. Верую. И потомств своему завещаю непоколебимую эту веру.


Все эти мысли пронеслись в голове батоно Серго, пока он смотрел вслед своему другу, уносимому ревушим потоком автомобилей. Вот видите, опять-таки даже о мыслях — пронеслись, а не прошли, и надо сказать, на большой скорости пронеслись, но батоно Серго этим не огорчился. Не утверждаю, однако, что в данном случае он как бы «засек» эту скорость. Скорее всего, нет, потому что сжилась с нею; и лишь изредка, в особых случаях, фиксирует ее. Но если уж фиксирует, то не без гордости, уважительно... «А что.. Я не тугодум какой-нибудь». А это значит, что он не всякой скорости противник и не во всех обстоятельствах. Скорость поездов Тбилисского метро батоно Серго, например, вполне одобряет. Конечно, когда наш Серго свободен, когда он на прогулке, ему и в голову не придет прокатиться в вагоне метро ПОД проспектом Руставели. Боже упаси! А вот на работу и с работы он, понятно, едет в метро. И выгадывает на этом почти полтора часа. Раньше он тратил на каждый конец минут по сорок, не считая ожидания на автобусных остановках. А сейчас кончил работу, спустился на эскалаторе к поезду и через десять минут дома. Красота! Как видите, к скорости, которая не из фанфаронства, которая не для забавы, которая не бесцельна, а служит людям (будь то скорость поезда, парохода, автомобиля и т. п.) наш дорогой Серго относится более чем уважительно. И мне это очень и очень приятно, поскольку нет у меня никакого желания изображать батоно Серго эдаким консерватором, врагом прогресса и НТР.

Да и нет этого, в помине нет, так зачем же наговаривать на хорошего человека! Ну, а если предыдущие страницы и ввели кого-нибудь на этот счет в заблуждение, то виноват я, автор, а не батоно Серго — значит, нужно было сразу сказать, что никакой он не консерватор. И вот я говорю это. Для полной ясности говорю, хотя лично мне и так все ясно: не может, никак не может наш дорогой Серго быть консерватором, врагом прогресса. Да вы посудите сами: с чего бы это он вдруг ударился в такое? Природа наделила нашего Серго здравым умом и прозорливостью (не утверждаю, понятно, что это великий ум и великая прозорливость, но с великих, как известно, и спрос великий, да и не о них сейчас речь, а о самом обыкновенном, скажем, даже заурядном тбилисце), а умный и прозорливый человек просто не может не видеть, к какой прекрасной цели идут люди дорогой прогресса. Так неужели наш дорогой Серго, наш умный и добрый тбилисец может лечь поперек этой дороги с лозунгом «Не пушу»?! С какой это стати? Во имя чего? Даже подумайте такое о нашем Серго непростительный грех.

Да и то учтите, что природа вместе с умом и прозорливостью дала нашему Серго еще и чувство собственного достоинства, и не кичливую, совсем не кичливую гордость. Так разве такой человек допустит, чтобы над ним смеялись! Это же для него, как говорится, — и можете мне поверить не для красного словца говорится, — хуже смерти. Ну, а над консерваторами — вредными и не вредными, страшными и не страшными (есть консерваторы, которые вредны и страшны только сами себе) люди всегда смеялись и смеются. Сначала современники смеются, а потом уже потомки. Сначала сама Жизнь, а потом уже ее История. И батоно Серго, бывает, посмеивается над своими знакомыми консерваторами — а они есть, как же без них, и даже по соседству совсем рядом. Есть, например, сосед у Серго, который уже много лет подряд ворчит на все сегодняшнее, на все новое и без разбора восторгается всем, что некогда было. Только и слышишь от него: «Вот в мое время!..». Его время! Чего же он в нем не остался, если оно ему так любо, — шутит батоно Серго. — Чего же он с сегодняшнего все что можно берет? И еще как берет. Он ничего, ровным счетом ничего из благ прогресса упустить не хочет. Не из таковых,

чтобы упустить. Зайдите к нему в квартиру, так это же не квартира, а выставка достижений НТР, потому что вся техника у него — телевизор, радио, магнитофон, электробритвы, холодильник, электронные часы, стиральная машина, кухонный комбайн и т. п. — только самых последних моделей. И все это, представьте себе, вполне нормально работает на него. Но стоит испортиться современному бацку в современном туалете, как уже «караул!» и «в мое время». Как будто никто уже не помнит, как в это самое «его» время он жил в развалюхе и бегал в нужник через весь двор. А не дай бог телевизор у него закапризничает — это вопль на весь город: «В мое время». А в его время о телевизорах еще только в фантастических романах писали. В романах, которых он не читал.


Ну, конечно, смеются над этим занудливым доморощенным консерватором люди. И батано Серго смеется. Так какой же он консерватор, этот наш во многих отношениях достойный современник, согражданин, соратник. Теперь, мне думается, совершенно ясно, что никаким консерватизмом, никакой враждой к прогрессу и НТР тут и не пахнет. Ну и слава богу. А что же касается отношения нашего Серго к Ларику, то оно, как вы уже сами понимаете, порождено совсем не консерватизмом. Впрочем, батано Серго уже не сердится на переметнувшегося к новому богу Ларика — кто знает, может быть, это правильный, мудрый поступок и новый бог сделает Ларика счастливым. И Ларика. И всех, кто уверовал, что новый бог с женским именем Скорость пришел в наш век, чтобы очастливить человечество, все человечество в целом и каждого человека в отдельности, — он всемогущий бог, а следовательно, ему ничего не стоит дать каждому то, о чем его просят. Я, Серго, лично для себя ничего не прошу, — Ларику дай, раз он верил тебе свою жизнь, свою судьбу, Ларику дай, — и потому не прошу, что иноверец (а если всю правду, то безбожник. Верующий безбожник. Но это особый разговор), и потому, что вообще не люблю и не желаю, главное, что не желаю, просить да выпрашивать. Ничего и ни у кого. Такой уж я человек: все, что могу, что имею, даю жизни, все, что возможно, беру у нее. Сам беру. И Ларик еще совсем недавно тоже был таким. Нехорошо, конечно, о живом человеке — был. Но что поделаешь, если уже нет прежнего Ларика. Того прежнего, степенного и совершенно не суетного, мужественного и свободолюбивого, независимого и гордого, как будто подменили. Независимый, он стал — вот именно стал, сам стал, добровольно — зависимым; свободный, он стал — опять-таки сам стал, добровольно — несвободным (страшно смотреть, как Ларик вцепился в руль своего автомобиля, а может, даже не вцепился, может, он сам себя добровольно привалил. Железом к железу. Кандальным железом). Из дающего и берущего превратился наш Ларик в просящего и молящего. В смиренного, пониженного богомольца превратился. Возможно, что Ларик и в ножки своему новому богу кланяется. Очень даже возможно — ведь вровень с богом не постоишь, на равных с ним, по-соседски, по-приятельски не потолкуешь — боги такое терпеть не могут. Вот и выходит, что был Ларик, вот именно был, был и весь кончился. А как это произошло, по какой-то причине кончился этот наипрекраснейший тбилисец — не пойму. Ну кто мне скажет, почему Ларик не устоял? Чем сблизился? Сколько я помню Ларика, он ни в чем не был слабее меня — мы с ним одной закваски, из одного теста, одной выпечки. Какого же дьявола он не устоял! А я устою. Будь я проклят, если не устою. И пока меня держат ноги, я буду ходить по улицам Тбилиси, созерцаю и раздумывая, радуясь и огорчаясь, потому что неинтересно мне без этого жить. И куда теплится во мне мысль, куда я еще соображаю, еще кумекаю, что к чему в этом мире, я, встретив на улице друга-приятеля или просто доброго знакомого, непременно вот так вот, прямо посреди тротуара, среди людского потока, заведу с ним разговор. Обстоятельный. Неторопливый. Обо всем, что нам обоим интересно. Не кося глаза на минутную и даже часовую стрелку. Потому что для нас обоих это ни с чем не сравнимое удовольствие. И не просто удовольствие. И не только. Памятью матери клянусь, что я дело тебе говорю, и если ты даже себе не веришь, мне поверь, послушайся моего совета: одиноко тебе? Худо? Тоска и страх овладели твоей душой? Не знаешь, как избавиться от них? А хочешь? Тогда немедленно из дома — походи вот так, как я, по улицам родного города, потолкайся среди людей, побеседуй вот так, не торопясь, с приятелем, и пусть мне в жизни радости не видать, если от одиночества и от страхов твоих что-нибудь останется. Ни следочка, уверяю тебя, ни следочка. Наоборот: ты сразу же снова почувствуешь себя живым среди живых, человеком в человечестве. Только не медли, не откладывай свой выход к людям на завтра, ибо, как и все мы, не знаешь ты часа своего, не ведаешь, когда ОНА за тобой придет. Придет, подкрадется, и ахнуть не успеешь, как отделен ты уже от живых, молчанием отделен, потому что на устах твоих уже ее печать, печать мол-



чания — знак ее отныне нераздельной и вечной власти над тобой. Ее власть — это власть над молчащими, — это мне мой дед не раз говорил, мой не терпевший живых молчунов и нелюдимов, мой мудрый, общительный, красноречивый и, увы, уже давно навсегда умолкнувший дед. А я верен его заветам. И вот хожу, и вот разговариваю. И счастлив этим. И чтобы я сам добровольно от этого отказался?! Ну, знаете... Жаль только, что на тбилисских улицах теперь не всегда можно спокойно, в свое удовольствие поговорить с другом-приятелем. А в иной час — в такой час машины и на небе, и на земле словно с цепи срываются — и вовсе это невозможно.


Батоно Серго вздыхает, вспоминая недавний случай, совсем недавний. Встретился он тогда вот на этом самом перекрестке — угол Руставели и Луначарского — с человеком, которого почти полгода не видел. С интересным человеком. Он батоно Серго был интересен, и батоно Серго — ему. И так им хотелось, более того, необходимо было, поговорить. И не удалось. Сначала они чуть было не надорвались, пытаясь перекричать обрушившийся на них грохот. (Работникам ГАИ это тоже не удалось, даже при помощи мощных усилителей, установленных на их автомобилях. В тихий час такие трубные голоса на другом конце света услышишь, а тут, хоть убейте, не разобрат, чего они хотят, чего требуют, что приказывают. Вот и получается еще один довесок к шуму. И только). Грохотало так, как... Но батоно Серго и его приятель даже не искали подходящих сравнений — все равно не найти... Бывалые фронтовики, они могли сравнить это лишь с артналетом. И то самый свирепый артналет — это примерно всего 130 децибел.

Батоно Серго тоже знаком с таблицей, о которой чуть раньше упоминал автор, и попробовал, сообразуясь с ней, прикинуть, на сколько децибел потянет эта сверхсвирепая канонада. В таблице против строки «Реактивный самолет, летящий на высоте 600 метров», стоит цифра 105. Но батоно Серго поднял глаза к небу и увидел не один самолет, а три низко — над самыми крышами — летящих. А вот и четвертый появился из-за холмов — вроде из Тбилисского моря выплынул. До чего же оживленно в тбилисском небе. Похоже, что там наступил час «пик». И на тбилисских улицах тоже, видимо, начался час «пик». Правда, у автомашин голоса потише, но зато они бегут вретирку и шумят хором (не менее 90 децибел плюс длительное воздействие). А тут еще у самого уха ударили в колокола. Нет, не в церкви, хотя колокола эти (не колокольчики-бубенчики, а медные, толстенные, с тяжелыми, как кистеня, языками) явно церковные, явно из прошлых времен, теперь вряд ли льют такие. Однако кто знает... Значит, есть на них спрос. И возможно, что не только у нас в Тбилиси. У нас ими оснащены для оповещения населения о своем прибытии, — чтобы жители не просыпали и чтобы не нежились баловни в постелях по утрам, — все мусоровозы и керосиновозы (мусоровозы — омашинившиеся реликты домусоропроводной эпохи в домостроении, а керосиновозы в нынешней розничной торговле — реликты так называемой примусно-керосиновой эпохи, — о том, что такая была, некоторые нынешние тбилисцы и понятия не имеют. Тогда — до эпохи массовой газификации нашего города — керосин развозили и разносили. Разносили безлошадные горластые керосинщики в черных, пропитанных керосином, ужасно пожароопасных фартуках. Один из них как-то загорелся на улице от своей собственной папироски, и мы, три прохожих офицера — я в чине старшего лейтенанта и два незнакомых мне капитана, — стали его спасать: загоревшись, керосинщик бросился бежать, раздувая огонь, и мы сбили его с ног и бросали своими шинелями. Шинельки наши фронтовые задушили, потушили пожар, но еще очень долго после этого, месяц, а то и два, моя воняла керосином, словно я сам торговал этим товаром вразнос. Развозили же керосин на однокопных, а бывало, и на парных повозках, и автор, помнится, очень жалел запряженных в них лошадей, и за то жалел, что они, красивые, неказистые, неухоженные и почему-то все одинаково грязно-бурой масти; и за то жалел, что они такие, уже с утра, усталые — потаскай тяжелую железную цистерну с керосином по крутым, все в гору, да в гору, тбилисским улочкам; и за то, что они такие терпеливые и равнодушные ко всем и ко всему: к колокольному звону, от которого они к старости определенно глухли, и к побоям — а торговцы-керосинщики жестоко, но как-то беззлобно, больше по привычке, деловито их били, особенно в зимнюю пору, когда на мостовых снег и лед, и все — и ноги на стертых подковах, и колеса на стертых железных шинах — все скользит и тянет, тянет вниз, назад. А торговец-керосинщик хлещет кнутом, и все норовит по морде, по губам, по глазам, и гонит, гонит на подьем... «Ах, бедные вы мои, несчастные», — сострадал я лошадям. Да, сострадал, потому что это все-таки



не машины, а животные. Живые существа. Торжественно провозглашенные нами так: «меньшие наши братья». Чувствующие боль и даже способные плакать братья. Видели ли вы слезы в лошадиных глазах? Впрочем, где вы их сейчас увидите).

— Ах, безобразники, ах, хулиганы, — рассердился на неистовых звонарей и без того рассерженный батоно Серго. Но мусорщики-звонари — а это два мусоровоза одновременно, график, черт побери, точный график — съехались на углу, почти у самой границы своих участков — сами поймите, не могут и не обязаны с этим считаться — подумаешь, человек рассердился! — у мусорщиков-звонарей свои дела, свои заботы, свой план, который они желают выполнить и перевыполнить, вот они и звонят, громко звонят, чтобы поскорее управиться и пошабашить, ведь это уже второй предвечерний заезд, и нельзя же из-за одного нервного круглые сутки вкалывать. И они дружно, с явным удовольствием трезвонят в два колокола: эй, шевелись, народ, поторапливайся! Для батоно Серго этот звон-перезвон вроде последней капли, что ли... Той самой капли, что переполняет чашу терпения. Но, благоразумный человек, он сдержался — при чем тут мусорщики, если разобраться. Плохо, правда, что они помешали ему закончить подсчеты. Хотя, если честно, хорошо, что помешали, потому что от подсчетов этих нашему Серго дурно стало — полагая, что все эти шумы, независимо от их происхождения и характера, как-то сливаются в один, он стал складывать цифры (те, которыми мощность подобных шумов обозначена в уже известной нам таблице), складывал, складывал, как вдруг обнаружил, что до той роковой, красной цифры 180 д/б, которой обозначена катастрофа, гибель всего живого, светопреставление, — уже совсем мало осталось. Батоно Серго ужаснулся, вздрогнул, похолодел весь (тут автор тоже вздрогнул, записал все это о батоно Серго и сам не менее своего героя ужаснулся — а в самом деле... того и гляди... — и сам похолодел. А автор — и это не хвастовство, уважаемые читатели, — не из робкого десятка. И он так же, как и вы, уважаемые, — оптимист, он так же, как и вы, непоколебимо верит в разум, а в данном случае, точнее — в разумность человечества, но он так же, как и вы, знает, какими мы, оптимисты, бываем иногда беспечными. В силу нашего вполне реалистичного оптимизма. И даже от некоторого избытка его. Вот эта способность оптимизма переходить в беспечность и страшит автора. И вздрогнул, и похолодел он за одно с батоно Серго, потому что в тот миг очнулся от своей приятной беспечности. Очнулся — ненадолго, вероятно, — и представил себе, к чему она может привести, и, не дай боже, приведет, если мы... Но тут я придерживаю свое перо. И потому придерживаю, что не хочу прослыть пессимистом-паникером, одним из тех, кто уже тысячи лет страшает людей неизбежным страшным концом света... И еще потому придерживаю, что людям совсем не просто от своей беспечности избавиться. Даже если они полностью осознали — сами ли, благодаря печальному, а нередко и трагическому личному опыту или вняв мудрым, доказательным советам и предупреждениям других, — поняли, какой она порой бывает вредной и, более того, преступной, наша беспечность... Очень и очень нелегко от нее избавиться. Это я по себе знаю. Пробовал. И не раз). Итак, мы пришли к выводу, что мусорщики-звонари в какой-то мере выручили батоно Серго, помешав ему довести до конца столь ужасающие подсчеты. И батоно Серго сам в глубине души обрадовался этому. Какого черта я занялся такой арифметикой, упрекнул он себя. От нее можно либо рехнуться, либо инфаркт схватить. И вообще при чем тут арифметика? Кто тебе сказал, что проклятые эти цифры надо складывать? Их, конечно, другим способом подсчитывают. Способом какой-нибудь высшей математики. А я в ней ни бельмеса. Вот и насчитал, старый ишак, черт те что, вот и напутал. Факт, что напугал, успокаивая себя, решил наш Серго. Но испуг был так велик, что он не сразу с ним справился и потому невольно повел носом: не пахнет ли паленым, — и оглянулся: не дымятся ли уже люди. Ведь согласно таблице — «155 — ожог». А он в своих ненаучных, некомпетентных подсчетах куда выше хватил. (Господи, что же это такое: ожог, поджог, и звук уже не звук, а пламень, огонь, пожар, превращение живой плоти в пепел... Кошмар какой-то. Бред. Даже верить не хочется, а приходится. Потому что наука). Паленым, слава богу, не пахло — привычно смердило выхлопными газами, и люди, если и дымились, то нормальным табачным дымом. И батоно Серго обрадовался: слава богу, живые все — курят, смеются, разговаривают человеки. Правда, ни смеха человеческого, ни голосов человеческих он из-за шума не слышал, но зато он впервые — впервые, поскольку раньше не приглядывался — увидел, как смеются, как говорят, как вообще общаются в этом грохочущем мире люди. Как и чем? Давайте и мы вместе с батоно Серго посмотрим, что идет взамен исчезнувшего слова.



Возможно, что прежде всего мы увидим руки. У нас на юге они всегда неизменные союзники и партнеры слова (южане даже шутят: свяжите нам руки и мы умолкнем), а сейчас у них, сами понимаете, работенка, вот они и мелькают по всей улице, вот и привлекают внимание. Ну что ж, с них давайте и начнем наш обзор. Итак:

а) руки — руки приветствующие, ласкающие, ободряющие, одобряющие, утверждающие, протестующие, отвергающие, негодующие и т. п.;

б) брови и ресницы — недоумение, раздумье, недовольство, конетство, презрение и т. п.;

в) уши — «наостренные», напряженные, как антенны в поиске, и уши, как бы понявшие, что искомое в этом хаосе звуков им все равно никогда не найти, и потому обмякшие, увядшие и пожухшие, как отжившие листья;

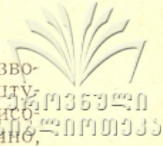
г) морщинки — бесконечна, но несколько однообразна их игра — игра мелких волн на мелководье;

д) губы — самые главные актрисы-лицедейки на этом театре — руки все же актрисы на вторых ролях, они в тонкости, в выразительности заметно уступают губам, и ролей у рук поменьше. А у губ — сотни, тысячи ролей и притом самых разнообразных — от комических и шутовских до самых что ни на есть трагических. А посему у них всегда полная нагрузка, они, даже будучи неподвижными, сомкнутыми, что-то выражают, изображают. Но чаще всего они подвижны, потому что в театре, хочешь не хочешь, а надо двигаться и вообще действовать и главным образом потому, что такими их сотворила природа: для того чтобы произнести одно слово, ну, скажем, изначальное слово — мама, — надо дважды сомкнуть и разомкнуть губы. Работа! Но ведь, кроме слов, есть еще и не воплощенные в слова чувства, ощущения, а их тоже надо выразить, изобразить. Работенка! И губы безотказно совершают ее на протяжении всей жизни человека — младенец еще не произнес своего первого слова и даже еще, наверное, не ведает, что оно существует, а губы его уже могут — и еще как могут — сказать о самом главном: о боли, о голоде — как страдальчески скривились губы ребенка, — о радости и блаженстве жить в таком прекрасном мире — как светло, лучезарно улыбается дитя... Человека покидает жизнь, умирает человек, уже незрячи глаза и уже немощен язык, но еще шевелятся губы, либо прощаясь, либо прощая, либо... Но вы уже знаете, какое множество ролей у губ, обо всех и не расскажешь, как и не расскажешь об всем — разве что в какой-нибудь отдельной специальной книге, — чем человек сопровождает, а иногда и заменяет слово, потому что есть еще у человека и глаза, и нос, и подбородок, и щеки со скулами, и плечи... Скажете — при чем тут плечи? Не знаете? Значит, вы в сорочке родились. Значит, не было с вами такого, что вы ей о любви — какие возвышенные слова и сколько их, — а она поведет плечиком, прельстительным, самым прекрасным в мире плечиком, поведет, и все... конец... катастрофа... гибель... Вам без слов сказали, что вы не нужны.

...Улица без слов говорила: глазами, плечами, губами, руками говорила, и батоно Серго, обозрев ее, подумал: «Обходятся ведь другие без слов, дай-ка и я попробую».

И попробовал: он улыбнулся приятелю и сказал ему, вернее показал, что рад встрече с ним. Приятель показал то же самое. Затем последовали вопросы о здоровье и ответы на эти вопросы. Не очень, правда, вразумительные, четкие вопросы и ответы, но разговоривают, слава богу, не тупицы, где не поймут, там догадуются. Ну, а как жена, как ребятинки? Нормально. И у меня нормально. Но тут оба приятеля одновременно представили себе беседу эту со стороны и одновременно поморщились — говорили они, как персонажи короткометражек Чарли Чаплина или как артисты театра пантомимы. (Думается, что нынешняя мода на такие театры не случайна, они возникают, чаще всего, в очень больших и очень шумных городах. И у нас в Тбилиси такой театр есть. А вчера автор увидел на улице рекламный транспарант, извещающий о спектаклях заезжего, гастрольного «Театра мимики и жеста». Приветик! Вступаем в эпоху бессловесного культослуживания, — с неселой иронией подумал автор.) А поскольку они — батоно Серго и его приятель — не киноартисты и не мимы, это их основательно смутило: «Как бы нас на смех не подняли». Затем, по мере того как разговор усложнялся, они все менее и менее понимали друг друга — на одной догадливости далеко не уедешь. И наконец, они просто устали махать руками и гримасничать. Без тренировки это трудно. «Придется, видно, нам, тбилисцам, изучать азбуку глухонемых, — с грустью подумал батоно Серго. — Я лично предпочел бы телепатию, но ее наши ученые начисто отвергают... А я же не мракобес, чтобы против науки...».

Батоно Серго вздохнул, крутанул несколько раз указательным пальцем воображаемый телефонный диск и прижал кулак к уху, что означало: «Зво-



ни», и приятель обещал кивком головы: «Позвоню», хотя оба знали, что звонить не будут. Телефон, конечно, замечательная, чрезвычайно полезная штука, вечная наша благодарность за него А. Г. Беллу, Д. Э. Юзу, Т. А. Эдисону. Но телефон прекрасен для деловых разговоров (пользуются им, конечно, и для разговоров пустопорожних, и еще как, и еще сколько; утверждают даже, что пустопорожних намного больше, чем деловых, но автор говорит это не в упрек и без раздражения, понимая, что от пустопорожних в обозримый период человечеству не избавиться). Невозможно даже представить, как бы обходились без него деловые люди. А вот для дружеских душевных бесед он, поверьте нам, тбилисцам, никак не годится. Никогда разговор по проводам — и не только по проводам, а вообще при посредстве техники — не сможет стать душевным. Не выйдет. Даже в том случае не выйдет, если повсеместно установить видеотелефоны — тбилисцу мало только видеть собеседника, нам еще необходимо как-то по-особому его почувствовать. Хотя бы так: потянуться своей, еще незажженной сигаретой к уже дымящейся сигарете собеседника и, прикурив, по-нашему, по-тбилиски, прикоснуться мизинцем к одарившей тебя огнем руке. Слегка прикоснуться, и уже достаточно, потому что чаще всего это прикосновение не руки к руке, а души к душе...

Батону Серго очень загрузил, расставшись с приятелем, — и от того загрузил, что не удалось им поговорить, и от того, что и винить за это некого (а для человека это немалое облегчение, когда есть, кого обвинить в своих бедах, когда есть, на кого возложить, а иногда и переложить вину за них). Некого. Некого. Это мы, люди, сами — сами, сами, а кто ж еще! — творим весь этот адский шум. Сами творим себе во зло. Мы его творим, и он, проклятый, портит нам жизнь... И от того еще загрузил батону Серго, что, хотя жизнь стала интересней, что правда, то правда, порой какой-то очень уж неудобной и неудобной она становится. Очень уж неудобной. А это грустно. Обидно и грустно. А тут еще, как назло, по улице снова проехал Ларик — правда, по другой ее стороне, поскольку возвращался. Но что из этого — по той стороне улицы это все же не по ту сторону океана, мог бы меня заметить, если бы захотел, — окончательно расстроился наш впечатлительный, легко ранимый Серго. Я посочувствовал ему и тоже нехорошо подумал о Ларике, хотя понимал, как мало он виноват. Понимать понимаю и казнить Ларика не собираюсь, а вот сочувствие свое, повторяю, отдаю Серго, потому что я сам совсем недавно и почти на этом самом месте пережил то же самое, что и батону Серго, с той лишь разницей, что человек, который меня не заметил, мне не просто приятель, а друг. И вот мой друг, представьте себе, пробежал, не промчался на авто со скоростью 60 км в час, а просто пробежал, размахивая своим пузатым портфелем мимо... Нет, даже не мимо, а будто сквозь меня, словно я какой-то газообразный или вовсе не материальный. Я рассердился и мысленно пожелал ему (ничего дурного я своему другу-торопыге, естественно, не пожелал, я его и такого, до одури заматанного, заплотного люблю) хотя бы споткнуться в наказание. И он, представьте себе, тут же споткнулся. Не стану уверять вас, что это сработала телепатия (по поводу которой мы с батону Серго уже высказались), поскольку мой друг просто-напросто спотыкался, о чем я, рассердившись, забыл. А он у меня такой: что ни шаг — то спотычка. Споткнется, пробормочет «простите» и дальше. И через минуту-другую опять «простите». И так по сто раз на день (носки его ботинок всегда обшарпаны и сбиты). И все из-за того, что в спешке — бежим, почти летим — земли под собой не чувствует, а раз так, под ноги себе не глядит — зачем? А на небо он тем более не смотрит. Кстати, эти тревожные мысли о моем часто спотыкающемся и всегда куда-то бегущем друге в известной мере и побудили меня начать монолог о Тбилиси и тбилисцах с давно назревшего и, можно сказать, наболевшего вопроса: «Часто ли мы, теперешние горожане, видим небо?». На днях я его об этом устно спросил (когда он еще мою повесть прочитает, если так занят), и он, разумеется, очень удивился: «А для чего я должен смотреть на небо, с какой целью?». «А разве не интересно знать, кто в нем летает — ангелы на белоснежных крыльях или ведьмы на помелах!» — пошутил я. Человек в общем веселый, чувствующий юмор, он шутку на этот раз не принял: «Нельзя ли конкретно, что я должен рассмотреть в небе?» — «Ну хотя бы самолеты». — «Самолеты? Не понимаю, почему я должен смотреть на них? Почему должен любоваться?» — «Я этого не говорил». — «Ну, значит, подумал, а это все одно. И вот что, дружище... если ты располагаешь свободным временем, любишь на здоровье самолетами. А для меня самолет, чтобы передвигаться. Транспортное средство. И когда мне нужно в командировку, я беру расписание Аэрофлота, выбираю удобный для себя рейс и лечу. Да, я предпочитаю воздушный транспорт — во-первых, значительная экономия времени, а во-вторых, если хочешь знать, — я летаю для собственного удовольствия. Скорость, дружище, это великолепно. Скоростью можно наслаждаться бесконечно. А вот что касается шума, то прости, по-моему, ты сильно преувели-

живаешь. Конечно, они шумят, у них же двигатели. Но я лично об этом не думаю, и потому не замечаю».

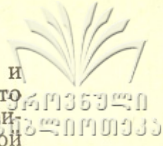
Вот видите, он просто-напросто не замечает, как они шумят, как грохочут летая в нашем небе. А уж о бесшумно летающих птицах и говорить нечего. Возможно, он убежден даже, что в небесах ныне обитают только авиаторы и пассажиры Аэрофлота, а птицы уже давно подобно воробьям живут, если вообще еще живут на земле... Кстати, я сам давно не видел, как подымается на крыло воробей, и иной раз думаю, что эти птицы-горожане даже на деревья уже не взлетают, а взлезают. Вот воробьев этих он иногда замечает. С неудовольствием. Ибо стоит ему выйти на улицу в новом костюме или шляпе, как с первого же дерева — кап. Бабушка всегда уверяет его, что это к прибыли, к деньгам, но ему, холостому, своих кандидатских хватает, а понадобится еще — зарабатывает, не дожидаясь, пока воробьиный помет превратится в злато и дензнаки.

Теперь видите, какой у меня друг, а я ему еще о небе — при чем тут небо, много он в нем понимает!

Да, все это, к сожалению, так: не смотрит, не видит, не замечает, не понимает. Но злиться не надо, одергиваю я себя. И на друга-горопыгу не следует злиться, и, тем более, все это не следует обобщать, а это ведь хочешь не хочешь уже обобщение, мой довольно-таки раздраженный вопрос: «Часто ли мы, теперешние горожане, смотрим на небо?». Ну, хорошо, допустим, мой друг не смотрит, и я его в этом уличил, но что из этого... Разве это значит, что всем тбилисцам — а их теперь один миллион сто пятьдесят тысяч — нет никакого дела до родного тбилисского неба. Тбилисцы, разумеется, все разные — один миллион сто пятьдесят тысяч непохожих друг на друга людей — лицом непохожих, характером непохожих, отношением к земле и небу непохожих. Есть среди них — раз мы уже говорим об отношении к небу — и профессиональные небознатцы: астрономы, метеорологи, авиаторы и т. п., а есть и небознатцы-любители; есть худые с тонкой шеей — таким ничего не стоит вскинуть голову и оглядеть все небо, а есть толстые, с короткими шеями — им, таким, и при желании не узнать, что происходит над их головой в зените; есть в нашем городе множество влюбленных, и хотя они больше всего любят друг друга, — небом только когда в разлуке, — все равно они к нему ближе, чем другие; есть в нашем городе много поэтов. Больше, чем в других городах. А поэты, как известно, все как один неболюбы. Александр Цыбулевский (а для меня и для многих, по нашему обычаю, просто Шура) родился поэтом. И любовь к Тбилиси у него тоже врожденная, хотя в автобиографии...

МОНОЛОГ О ШУРЕ И НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

...В автобиографии, в, так сказать, официальной автобиографии, Шура собственноручно написал: «Родился в г. Ростове». Собственноручно, и все равно это неточность. Явная. Без особого труда доказуемая. Всей жизнью, всем творчеством Цыбулевского доказуемая. Неопровержимая. Как неопровержима народная мудрость, утверждающая, что не та мать, что родила, а та, что вскормила, взрастила, воспитала. Шуру вскормил, взрастил и воспитал Тбилиси. Не потому я, конечно, говорю о Шуре: «Он тбилисец», что чем-то плох Ростов, а потому, что Тбилиси не просто усыновил Шуру, а еще и щедро, по-тбилиски щедро, наделил его чертами своего природного характера. Иному читателю может показаться, что я, начав вдруг рассказывать о Шуре, — вот даже в отдельную главу, в отдельный монолог этот рассказ о нем выделил, — не очень ловко и не очень вежливо прервал рассказ о Тбилиси. Не всем такое нравится. И мне не нравится, когда рассказчик ни с того ни с сего перескакивает с одного на другое. Но в нашем случае этого нет: я не прерывал и не собираюсь прерывать рассказ о нашем городе — рассказывая о Тбилиси, я рассказываю и о Шуре, хотя он только малая частица этого города (малое, если только оно часть большого, великого, а не само по себе малое, если только оно само себя не низвело, не изничтожило до ничтожества, не только отражает, как некоторые по привычке думают, а непременно выражает это большое, великое. Вот именно — выражает), а рассказывая о Шуре, рассказываю и о нашем городе. Конечно, рассказывая о Тбилиси — пятнадцать веков славной истории, шутка ли, пятнадцать веков! — вовсе не обязательно говорить о Шуре (хотя лично я целиком на стороне замечательного русского писателя Андрея Платонова, сказавшего: «Без меня народ не полный!»). Да, без меня, одного меня, как ни мал я, народ неполный. И город неполный. Без меня неполный. И без Шуры неполный. И без тебя, дорогой



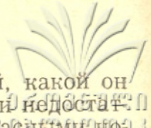
Тбилисец, прости не знаю твоего имени, он неполный). Но говорить о Шууре и не сказать о Тбилиси никак невозможно. Впрочем, это зависит и от того, кто рассказывает, но, а поскольку рассказываю я, то в моем рассказе Шура и Тбилиси слитны. По многим причинам слитны. И потому даже, что мы с Шуурой нигде, кроме Тбилиси, не встречались, хотя он объездил все Закавказье, весь Кавказ, бывал в Средней Азии, в Крыму, в Москве, в Ленинграде, и я тоже дома не сидел. Но мы с ним виделись только в нашем городе, даже на Черепашке, и в Цхети — вот уже от Тбилиси рукой подать — мы с ним вместе ни разу не были. Только на тбилисских улицах мы встречались, а также у Гии Маргвелашвили, у Давида Давидова, у меня или в Шурином пограничном доме.

Пограничным я называю его дом потому, что он действительно стоит на очень четко и определенно обозначенной границе нового и старого Тбилиси — с одной стороны, из одних окон вид на современную набережную Куры, а с другого, из кабинетика, — старый Тбилиси — он прямо со двора начинается темно-серой каменной стеной. Нет, это не описка — именно стеной, а не за стеной, т. к. сама стена, сложенная сто или двести лет тому назад из «дикого», необработанного камня, была уже старым Тбилиси, была уже, так сказать, ТЕМ берегом, если считать ЭТИМ берегом Шурин дом и если считать самой линией границы вытянутый в безукоризненно прямую линию длинный и узкий заасфальтированный двор.

Внешне пограничный этот дом ничем не отличается от других своих современников, соплеменников, сородичей — он типовой, блочный, многоэтажный, многоподъездный, а вот те дома, за стеной, — как и сама стена — совсем из другого племени, из другого рода, хотя и название у них такое же, как у многоэтажной этой махины: здание, дом, жилище, жилфонд (жилфонд! Надо же! Это о гнездах человекевых так — жилфонд! В холодную бы за это, на пять суток, да жаль такого закона нет). Те, что за стеной, — все разные, каждый на свой лад, на свой манер, уж их-то типовыми не назовешь, и если есть у них что-то — правда, не с первого взгляда, а если хорошо приглядеться, — общее, то это некая печать времени. Своего — а мы должны сказать ихнего — времени. И у пограничного дома тоже печать своего — а в том случае нашего — времени. Как говорится: без печати действительно. А ведь верно говорится: разве что-нибудь в нашем мире действительно без печати своего времени? Да и вряд ли кто-нибудь или что-нибудь может вне своего времени появиться на свет. Это только так говорят: «Тебе бы в другое время родиться...». А как это? Нет, не верь таким словам! — не о тебе это говорится, а о ком-то другом, несуществующем, предполагаемом. Ты просто не мог появиться на этот свет ни до своего времени, ни после него. И вот еще что: у времени тоже, разумеется, есть свои ДО, и ПОСЛЕ. И есть разница между этими ПОСЛЕ и ДО; есть граница и есть пограничье. Поэтому и не удивился я, когда один наш критик и литературовед сказал, что рассказы и стихи Александра Цыбулевского тоже в определенном смысле пограничные (тоже — поскольку я только что в разговоре назвал пограничным Шурин дом), имея в виду, как я полагаю, границу (грань, рубеж) между двумя эпохами (эпохами, периодами) в развитии нашей отечественной литературы.

Точное это наблюдение критика, на мой взгляд, весьма интересно, и я, читатель Цыбулевского, мог бы даже подтвердить это убедительными примерами из его стихов и прозы, но поскольку речь сейчас идет не об этой незримой границе (заметьте, не воображаемой, а только лишь незримой границе, а о ней и обо всем, что с ней связано, надо надеяться, критик скажет в какой-нибудь своей работе — такими наблюдениями литераторы, как правило, не разбрасываются), то я позволю себе вернуться к той границе, на которой и стоит дом Цыбулевского, к границе не только вполне зримой, но и, так сказать, вполне материализованной, к границе, которую можно не только увидеть, но и пощупать, потрогать своими руками. И можете быть при этом уверены, что руки, а точнее пальцы, вас также не подведут, как и глаза, — ведь даже пальцами, на ощупь, нетрудно отличить кирпич от бетона, булыжник от асфальта, деревянные резные балконы от железных и т. п. И обоняние, если понадобится, поможет вам ее, эту границу, определить, потому что запахи по ту и по эту сторону тоже, несомненно, разные (об этих запахах я вам еще расскажу. Обязательно. Только чуть попозже).

Итак, вполне реальная, вполне осязаемая, зримая граница, еще пока разделяющая наш город. Вот это грустное, тревожное ПОКА и заставляет меня говорить о ней. Пока она существует, и нет у меня, поверьте, никакого желания свести все эти разговоры о границе к тому, что она, мол, и Шурину любовь к Тбилиси тоже разделяет надвое. Ну, скажем так: по одну ее сторону все очень любимое, а по другую не очень или не любимое вовсе. В жизни, разумеется, и так бывает. Вот так просто: чет — нечет, люблю — не люблю, обожаю — ненавижу и т. п. Но Шура был прост и непрост, как, впрочем, прост и непрост сам Тбилиси, и Шурина к нему любовь в силу этого была одновременно



и простой и сложной, а это значит, что весь Тбилиси, целиком, такой, какой он есть, каким был и каким будет, весь, со всеми своими достоинствами и недостатками, добродетелями и пороками, с красотой и уродством, с его прекрасными востройками и святыми руинами, со всеми храмами и банями, пурнями и хинкальными, стадионами, библиотеками и театрами, с упраздненными и действующими кладбищами, с базарами и вокзалами, словом, как говорится, со всеми пороками, со всей начинкой, — весь был любим Шурой. (И повторяю: никакого раздвоения чувств к нему. Никакого.) Горючо, преданно, верно, на всю жизнь любим. Но даже такая любовь избирательна. (И не только избирательна, но и собирательна — Шура редко, очень редко говорил прямо: «Я люблю Тбилиси», но охотно приводил слова некоего тамады, который, провозглашая тост в честь Тбилиси, каждый раз пояснял: «Я люблю один из городов, потому что этот один — лишь один из всех, а не сам по себе один». Шура, бывало, развивая эту тему, импровизировал, иногда серьезно, иногда шутя, вот так, например: «Жаль прародительницу нашу — Еву, несчастная — ведь праотец наш Адам никак не мог ей сказать: «Ты лучшая из женщин, Ева».) Даже безмерно любимому человеку — лучшему другу, единственной женщине, сыну, внуку — мы, бывает, говорим: «Больше всего я люблю в тебе...» и называем то, что избрано любовью из всего любимого, ну, скажем, смелость или доброту, мудрость или великодушие, или «твои глаза», «твои губы» и т. п. Ну, а раз оно так избирательно, наше отношение к любимому человеку, так почему же к любимому городу оно должно быть иным, к огромному городу, который создавался веками, с неисчезающими следами аккуратно подсчитанных историками войн и пожаров, с неизгладимыми следами миллионов ног некогда живших и ныне живущих людей, с несмываемыми следами потоков крови и слез, с ожогами от уже давно отплавших и заревом еще пылающих страстей, город, о котором можно сказать — Шуриными же словами, что «...к эпосу причастен он, рассчитаны его масштабы для свадеб и для похорон». И обязательно, обязательно, как непоколебимо верил Шура, и для великих и благородных подвигов во славу разума и добра рассчитан. По-моему, это вполне естественно, что Шурина любовь к такому городу была избирательной, пристрастной любовью. Пристрастной и к тому, что нарождалось, и к тому, что исчезало. И сам он этих своих пристрастий не скрывал — ни в поступках, ни в разговорах, ни в прозе, ни в стихах. В таких, например, стихах:

С утра авто коптит, коптит,
Бледна рука воскресных канцелярий.
Но, чу! Откуда цоканье копыт
И глаз коня божественный и карий?
Мелькают спицы, шины шелестят,
И тает, тает крепкий запах кожи,
И сыты ноздри, и глаза косят.
И на руку наматывают вожжи.
А чмокающий звук не так уж прост.
Узорчата балконная решетка,
Со дна Куры встает Ишачий мост...
Куда же ты, куда же ты, пролетка?

Тут уж все без утайки. Только, будучи пристрастным, Шура не осуждал иных наших тбилисцев за их суперурбанизм, но и не восторгался ими: «Ах, какие передовые, ах, какие современные!». Более того, Шура по-братски жалел этих «беспечных растратчиков собственной жизни» и не очень скрывал это, и уж вовсе не скрывал своего отвращения к гримасам урбанизации и своей тревоги за будущее любимого города. А Шура тревожился, очень тревожился — он был не только обывателем его (не в нынешнем оскорбительно-презрительном смысле обывателем, а в прямом: обыватель — обитатель — житель), не просто горожанином, он был гражданином, а это, как вы сами понимаете, не одно и то же. Горожанин может быть и безразличным, беспечным, безответственным по отношению к своему городу, а безответственный просто не имеет права называться гражданином. Быть гражданином — это прежде всего любить свой город. Беззаветно. По-сыновнему, по-мужски любить, а мужская любовь, как считал Шура, означает высшую меру ответственности.

Я помню разговор с одним нашим общим приятелем, у которого в те дни единственная дочь, вчерашняя школьница, вышла замуж. Приятель наш одновременно и радовался, и волновался, в чем и признался нам: «Боюсь... Даже думать боюсь... А вдруг не то... не тот человек», а Шура сказал: «А по-моему, тот... по-моему, ответственный человек». И мы — ни наш приятель, ни я — не стали расспрашивать Шуру, что в данном случае означает «ответственный», потому что смысл, который Шура сейчас вложил в это слово сам, во всей, вероятно, полноте, сам открылся нам: ответственный — это значит, что

будет любить, будет заботиться, будет беречь, будет защищать от всех бед и напастей. Вот так примерно, если не очень усложнять, можно расшифровать, что хотел сказать Шура этим «ответственный». А еще проще: «Она будет за ним, как за каменной стеной, твоя дочка».

И ответственный горожанин-гражданин — это, если хотите знать, часть стены, прикрывающей, защищающей, оберегающей любимый город.

Когда мы впервые встретились с Шурой, он сразу увиделся мне вот таким именно ответственным гражданином, ответственным тбилисцем. И кроме того, он предстал передо мной таким гражданином, который не только любит родной город, но и все знает о нем и в нем — каждый дом, каждое дерево, каждую травинку на земле и каждую морщинку в небе — в лицо, по именам знает. Я бродил тогда с Шурой по тбилисским улицам, кажется, уже достаточно знакомым, и всякий раз убеждался, что знаю либо очень мало, либо не очень точно, или вовсе не то знаю и Шура мне их заново открывал. Неоднократно открывал заново — вчера с одной какой-то стороны, а сегодня с неожиданного ракурса... И вот, оказывается, она, эта узкая улочка, эта небольшая овальная площадь, эта спрятанная за чинарами церквушка, такие же, как и вчера, и уже не такие — они как бы распахнулись, как бы пригласили — смотрите не только на нас, но и в нас...

Мне нравилось, как Шура представляет мне свои любимые места и улицы, как произносит он, преобразая их простые демократичные названия. Но в десять раз больше мне нравится читать эти же названия в произведениях Шуры. Дар его был даром писателя, а не сказителя. Шура писал во много раз лучше, чем рассказывал. Начертанные его пером, они снова, в который раз уже, преобразуются и звучат так, словно их возглашают под торжественные звуки фанфар как названия самых знаменитых проспектов мира, как титулы сказочных принцев и принцесс, как имена прославленных красавиц и красавцев. А ведь это, повторяю, самые что ни на есть обыкновенные названия обыкновенных тбилисских улиц, таких, например, как Гончарная, Кувшинная, Винный подъем, Карусельный спуск и т. п. — прочтешь на уличном указателе, и никаких особенных мыслей и впечатлений. А вот, оказывается, совсем они не простые. Значит, с ними чудо произошло? Ну да, чудо. Обыкновенное чудо — как сказал один поэт-сказочник. Обыкновенное чудо поэзии, а поэт, сотворивший его, — кудесник из кудесников, а его перо — та самая волшебная палочка — да, да та самая, — которой только прикоснешься к лягушке-квакушке, и она мигом превращается в светлолицую царевну, а тронь его великана-людоеда — и нет его — перед тобой крохотный безобидный мышонок. Помните? Не забыли. Ну и слава богу, что не забыли. Рад за вас. И за себя тоже рад — живут, живут во мне сказки и чудеса моего давнего, ох, какого давнего-предавнего детства, и я просто не представляю себе, как можно жить без сказки и чуда.

Я не говорю, что по стихам и прозе А. Цыбулевского можно составить топонимический словарь Тбилиси, хотя Шура многие из этих названий, по-своему правда, поэтически раскрыл. Но поэзия поэзией, а есть еще и простая любознательность, есть законное любопытство, когда просто хочется узнать, что же скрыто во всех этих названиях, тем более что самому до этого, пожалуй, не докопаться — ведь сколько не ищи, никакой карусели на Карусельном спуске не найдешь, и гончарных на Гончарной тоже нет, и на Винном подъеме сейчас даже не пахнет вином, а на Водозной уже никто ничего не скажет вам о водовозах — не помнят, не знают.

Но если топонимический словарь по произведениям Цыбулевского не составишь — говорю об этом без сожаления, ибо каждому свое, — то путеводителем по Тбилиси они, несомненно, могут служить. И еще каким! Превосходным, поистине волшебным путеводителем, в котором все зримо, все осязаемо, все объемно — да так объемно, что хочешь — спереди смотри, хочешь — сбоку или со спины, и все одинаково видно, ну почти голография и только, — в котором все живет, все живое — живые звуки, живые запахи, живые краски. И тому же волшебный этот поэтический путеводитель точен, как самая точная карта, как самый подробный план города. Я уже не говорю о таких точных «адресах», как этот: «Мимо церкви все той же Кашвети, где напротив хинкали с утра, приблизительно в девять без трети мне опять на работу пора». Или вот такой, не менее определенный:

«Почему он не подождет трамвая, а пошел по мосту в такой дождь? Хотел увидеть, как вода падает в воду — дождь в Куру? По мосту прошел разносчик керосина (откуда — куда?) — привидение — с двумя бидонами — профессиональными, настоящими — с неразборчиво выведенной ценой, за ним старуха с рвущимся из рук зонтиком и злобой гримасой самурая. А за мостом — в пустом саду девушка-подросток в голубом и белом пробежала по намокшему кирпичному песку, отражающему светлое, недождливое в дождь небо». (Из рассказа «Прогулка»). Сейчас тоже идет дождь. Не ждите трамвая — идите. А вот и мост. Узнали? Да и не могли не узнать — так у писателя все верно

указано. Разносчика керосина вы, возможно, и не встретите — привидения так запросто не разгуливают, — но старуха с рвущимся из рук зонтиком непременно встретится вам на этом мосту, а в пустом саду за мостом вы увидите и мокрую кирпичную дорожку, а повезет — и бегущую легко сквозь дождь, как сквозь сон легко бегущую девушку в голубом и белом. Ну а раз вы уже вышли на предложенную Шуру прогулку, то, пройдя мост и сад, смело идите дальше. Не бойтесь, не заблудитесь. Узнаете? Это ведь Гончарная, а это, несомненно, — Кувшинная... Но даже когда Шура не называет улицы и переулки, их все равно узнаешь. Разве можно заблудиться, прочитав такое описание:

«И мы отправились слевой по улочке, где старый деревянный фонарный столб, обремененный проводами, идущими к непостижимым гибридам из жилых помещений, красилен, мастерских жестянщиков, цехов трепки ваты и прочески шерсти, ящиков с керосинками, аптекарским ларьком и т. д., и все пахло свежеструганными досками ремонта. Это остров — там машины тычутся, словно слепые, под знаком, запрещающим въезд, — и поворачивают, недовольно урча».

Прочитаете вы такое и пойдете, как и Шура слевой, в сторону Майдана, к той двери над которой совсем недавно было нарисовано «Хашная», а теперь на тот же манер — «Столовая». Но все равно из подвала — а дверь ведет в подвал — пахнет хашной, духаном, пахнет вином и тархуном, чаей и чесноком, пахнет хаши и киндзой — «легкий привкус киндзы», — пахнет джонджоли, а это засоленный ландыш, уже никак и ничем не похожий на ландыш, не пахнущий ландышем, и вообще непонятно, чем пахнущий, и еще из подвала на вас пахнет запахом мужужи — сваренных без соли, затем политых уксусом поросячих ножек, и еще бог знает чем пахнет на вас из бывшей хашной. Я обещаю вам запахи, так вот они, вы можете им вполне довериться — они обязательно приведут вас по указанным в поэтическом Шурином путеводителе адресам. Вот сюда, например: «Соленый, сладкий пух, налет загара, но это непроизносимо вслух. Берут в полет пролеты Авлабара, где с адской серой смешан баный дух». Усвоили? Ну и шагайте!

А если не доверяете почему-то запахам, если предпочитаете ориентироваться по краскам, то пожалуйста, их множество в путеводителе Шуры — живых, ни при какой погоде не тускнеющих красок, и они непременно приведут вас в какой-нибудь удивительный уголок города, хотя бы вроде этого, где, как заметил поэт: «Вновь дерево Иудино в цвету очутится над улочкой крутой, Присядет чинно дева на тахту, окрашенную всякий год туюй». И вы присядьте рядом с девой на тахту. Отдохните немного душой, замотанный городской спешкой человек. Отдохните немного душой, себе и ближним своим на благо.

И уж конечно, волшебный этот путеводитель обязательно приведет вас к людям Тбилиси, если вы того пожелаете, приобщит вас к их жизни — и к той повседневной, обыденной, что зовется просто жизнью, или — еще проще — бытом, и к той, что зовется жизнью души, жизнью духовной (это совершенно бесспорно, что они — обыденное и возвышенное — взаимосвязаны, что они проникают друг в друга, что они друг в друге проявляются, а раз бесспорно, значит, не нуждается ни в пояснениях, ни в уточнениях). Да, если вы того пожелаете, если с этим желанием приобщиться к жизни — к духовной и обыденной жизни другого народа, — вы пришли к нему. Когда же такого желания нет (я имею в виду желание приобщиться душой к душе, желание, равное любви, а не любопытство — любопытство чаще всего поверхностно и поверхностным же быстро удовлетворяется), то никакого приобщения, понятно, не получится, даже если закон гостеприимства распахнет перед вами все двери. Я знал человека, который, в общем-то, приехал в Тбилиси, в Грузию, совершенно случайно — возможно, что привела его сюда страсть к перемене мест (а известно, что охваченный ею к самым местам обычно равнодушен, иначе не смог бы он их так легко менять), а скорее всего, выплеснула его на этот берег какая-нибудь штормовая волна. Короче говоря, однажды он появился в нашем городе и однажды, спустя пять лет, исчез. Незаметно появился и исчез тоже незаметно, во всяком случае, приезд его не стал для тбилисцев праздником, а отъезд не повернул их в печаль. Ничего, ровным счетом ничего, кроме записей в домовых книгах и тому подобных чернильных следов не осталось от его пребывания в Тбилиси — ни у тбилисцев, ни у него самого. Был как не был. Жил как не жил. Я обычно жалею людей, которые попусту тратят годы своей жизни, а этот никакой жалости во мне не вызывает. За что его жалеть? Но и неприязни, а тем более ненависти у меня к нему тоже нет. Только тут я не скажу: «За что же его ненавидеть?», потому что знаю — человек, который не любит других, который безразличен, равнодушен ко всему, что не он и не его, — плохой человек. От них много горя людям, от равнодушных, от них многие наши беды. Это я и по личному опыту знаю, да и память тут же подсказывает читанное, слышан-

ное: «Заговор равнодушных», «Бойтесь равнодушных!», «Бой — равнодушными!»

Человек, о котором мы ведем разговор, вообще-то, смею думать, не из лучших людей, несмотря на то, что с первого взгляда его поведение может показаться чуть ли не безукоризненным, поскольку никогда никакого высокомерия, никакого желания выглядеть таким «джентльменом из сетельмента», поскольку никогда никакого хамства, поскольку вежливость, когда положено быть вежливым, согласно общепринятым правилам. И когда его, бездомного, тбилисцы приютили под своей кровлей, он, конечно, сказал: «Спасибо». Так принято, а он, как уже сказано, не хам. И когда ему место у очага уступили, чтобы обсушиться и обогрелся — на дворе злое ненастье, нитки сухой нет на человеке, — он тоже сказал: «Спасибо», Так принято. Он говорил тбилисцам «спасибо» и когда укрывался от палящего летнего зноя в тени их чинара, так принято на жарком юге, за спасительную тень «спасибо» и за спасительный глоток холодной воды «спасибо», и уж, конечно, «спасибо» за хлеб — за хлеб везде принято говорить спасибо. Он тут же — так принято, так предписано правилами хорошего тона — расплачивался, вот именно расплачивался этим вежливым, можно сказать, автоматическим «спасибо» за все, что подлежало — с его точки зрения, подлежало — оплате, и ему тоже говорили «спасибо», — с ним тоже тут же расплачивались — тбилисец справедливо считает, что даже у врага можно быть в долгу: «ничего... не пропадет за мной должок... Настанет срок — расплачусь», но нельзя, нельзя, невозможно быть должником у безразличного. Безразличному надо платить безразличием. И только. Вот потому и я, чувствующий себя тбилисцем, плачу этому человеку полным безразличием. А раз так, то, уж конечно, никакой жалости и никакой неприязни. И если я и жалею о чем, так только о том, что вот пришлось столько слов потратить на безразличного человека. Но, с другой стороны, должен же я как-то сказать, что и такие попадают к нам, раз они в нашей жизни есть, а также должен как-то подчеркнуть, что даже общий кров и общая трапеза не приобщают человека к жизни другого человека и другого народа. Тут все решает только любовь, и непременно взаимная, без нее тбилисцы не считают любовь настоящей любовью, ибо только на взаимной любви держится и продолжается жизнь. Плоды любви — говорят тбилисцы, да и все люди на земле так говорят, обо всем прекрасном, что на ней произрастает. Плоды взаимной любви.

(Тут мне кажется вполне уместным небольшое, в пределах этих скобок, авторское пояснение: когда автор и в первом монологе и в этом говорит «Тбилиси» и «тбилисцы», то подразумевает он под этим — что само собой разумеется, а как же иначе, — Грузию и грузинский народ, хотя Тбилиси, столица Грузии, как известно, город многонациональный. Но таким многонациональным он, понятно, стал не по чьей-то прихоти или капризу, а главным образом благодаря тоже широко известным душевным качествам грузина и прежде всего его готовности и способности немедленно ответить дружбой на дружбу, любовью на любовь каждого, кто его бескорыстно полюбит. Я, конечно, понимаю, что это далеко не полное и уж вовсе не научное пояснение того, как исторически складывался и сложился духовный облик Тбилиси, все это, так сказать, лирика, эмоции... Но я и не претендую на полноту, а тем более на научность. Я сказал только то, что подсказало мне мое сердце, а оно, сердце мое, не историк, оно просто сердце. Преисполненное благодарности человеческое сердце — знающее, — а сердце, я верю, обладает способностью не только чувствовать, но и знать — знающее, что такое счастье взаимной любви. И Шура, моему другу Шура, тоже в этом посчастливилось — судьба даровала ему такую любовь. Взаимную. Шура полюбил Тбилиси, Грузию, грузинский народ, и грузины ответили ему любовью.

Мне еще никогда не приходилось жалеть о том, что я не исследователь литературы, а сейчас я об этом жалею — очень уж мне захотелось проникнуть в секрет, в тайны того, как поэт, писатель одного народа приобщается к душе, к духовной жизни другого, в данном случае грузинского народа, и как грузинское входит в творчество негрузина, как и в чем это сказывается, как и в чем проявляется... И как все это из души в душу переливается. Вот именно переливается — другого определения я не нашел, потому что свет — а это, несомненно, нечто подобное свету, озаряющему, животворящему свету, — тоже льется, переливается... Но скажем, он уже влился, этот свет, в душу русского писателя, влился и наполнил то, что еще не было наполнено, озарил то, что еще не было озарено, словом, так или иначе изменил ее... Меняется же состав крови нашей, когда в нас вливается донорская? Убежден, хотя и не медик, и не биолог, и слишком мало знаю о переливании крови, что меняется и что обретает она, кровь, от этого новые качества. И состав души после переливания света, уверен, тоже меняется. И она тоже обретает новые качества. И несомненно, она в лучшую сторону меняется, в



сторону прекрасного; несомненно, она этим прекрасным обогащается. 1957 № 1
ЗВЗ ПР 0133
может же, никак не может обеднеть тот, кого одаряют светом.

Конечно, примеров такого обогащения, а вернее, взаимообогащения (здесь берущие почти всегда что-нибудь взамен отдают, но, разумеется, это не обмен — кто же меняет свет на свет, — это, если хотите, одаривание, и происходит оно, понятно, не по мере «баш на баш» — тут существует более сложная, более тонкая, а потому, понятно, и более точная мера). Можно привести великое множество примеров из одних лишь русско-грузинских литературных отношений, примеров весьма и весьма убедительных, и все же несколько не раскрывающих, как это оно происходит — переливание света. Наверное, тут существует какой-то общий закон, но я его не знаю, а если обращусь, скажем, к великолепному опыту Тихонова, то, возможно, узнаю, как это произошло с ним, с русским поэтом Николаем Семеновичем Тихоновым, но не узнаю, как это происходило с русскими поэтами Пастернаком, Антокольским, Заболоцким, Межировым, Тарковским, Симоновым, Лукониным, Ахмадулиной, Евтушенко, Леоновичем, Синельниковым. Каждый из них по-своему, и только по-своему, приобщался к душе грузинской. Тут я попытался сопоставить и мой личный опыт — а я многое поверяю в жизни своим личным опытом — с опытом Шуры и только еще раз убедился в том, что таким способом, конечно, никакого общего закона не постигну — ведь я приобщился к душе грузинской совсем по-другому, в совершенно иных обстоятельствах. И не в Тбилиси, и не в то время, когда Шура, а осенью сорок первого года, в километре с небольшим от Перекопа.


...Грузина зовут Ладо — потом я объясню, почему не называю его фамилии, — он наводчик противотанкового орудия. На огневой позиции противотанковой батареи я всего два дня. Но мне кажется, что с Ладо, о котором мне моя редакция поручила написать очерк, мы дружим всю жизнь, с детства, потому что я о нем уже все знаю, а он все-все знает обо мне. Впрочем, не совсем все — не могу, нет, никак не могу я сказать Ладо, как терзает мое сердце непрерывная тревога, что нам все-таки не удержаться на Перекопе («Под натиском превосходящих сил противника» — так потом сообщает об этом в печати и по радио, а Ладо сказал проще: «Ну и жмут, гады»). Еще день, еще два, и фашисты ворвутся в Крым. А я — джанкоец, и все, что за Турецким валом, за Перекопом, вся эта степь, что лежит за нашими плечами, — это мой родной Джанкойский район. Это мой дом. И весь Крым — мой дом. Отчий дом. И в нем — в Джанкое, в Феодосии, Евпатории, Симферополе вся моя семья, вся многочисленная моя родня, все близкие мне люди. Что будет с ними, если... об этом я даже думать не могу. Страшно, невозможно об этом думать. Лучше уж мне умереть здесь, на Перекопе, чем дожить до такого. Лучше умереть.

Вот об этих черных мыслях я, конечно, не мог сказать своему новому другу Ладо. И не потому, что боялся показаться трусом и паникером — Ладо уже несколько раз видел меня в бою, — а потому, что это могло быть воспринято Ладо как упрек. А я ни в чем не мог, не смел его упрекнуть — Ладо встретил войну на самом западном, самом первом рубеже, и нет числа рубежам, на которых он потом сражался с гитлеровцами, прежде чем стать вот здесь, на Перекопском рубеже.

«Нет, я ни слова не скажу Ладо о своих муках, ни слова», — решил я, не подозревая, что Ладо о них знает. Может, и не знает, но чувствует.

А натиск превосходящих сил противника на защитников Крыма все усиливается — нас теснят, теснят, теснят, и вот мы уже по эту, Крымскую, сторону Перекопа и комбатр наш старается укрыть две уцелевших «сорокопятки» в невысокой серой от пыли лесопосадке. Мы все едва держимся на ногах, потому что почти сутки, почти непрерывно длилась эта вражеская атака, но комбатр даже здесь, в лесопосадке, не дает нам времени на перекур — у врага большие резервы, и, может, как раз сейчас он предпримет еще одну попытку прорваться в Крым.

У меня свое место в орудином расчете — я считал, что военному корреспонденту нигде и никогда не следует быть сторонним наблюдателем, а здесь совесть и вовсе не позволяет мне болтаться без дела. И я вместе с другими толкал орудие и таскал ящики со снарядами и все удивлялся, что люди еще не падают от усталости, что они еще говорят о всяких своих повседневных делах и даже подшучивают друг над другом и смеются, если шутка смешная. И странное дело, меня это ничуть не покорило, — а в моем состоянии могло ведь и кощунством показаться, — а наоборот, обрадовало и обнадежило. «Значит, не все еще пропало... Значит, есть еще сила в людях... Значит, можно еще отстоять Крым», — подумал я и сказал об этом Ладо. А он не стал уверять меня, что так оно и будет, но и не стал разочаровывать. «Курить хочешь?» — спросил Ладо. «Хочу», — сказал я. И Ладо сам свернул мне цыгарку, и сам прикурил ее для меня, потому что у меня противно дрожали руки — отвык че-



ловец от тяжелого физического труда, что поделаться, — а друг мой не хотел, чтобы другие видели, как они дрожат. «Тебе когда приказано быть в редакции?» — спросил Ладо. «Завтра», — сказал я. «Так ты давай собирайся, до Симферополя, говорят, не близко». «Успею», — сказал я. — Утром пораньше поеду и к полдню доберусь. У меня под Богемкой легчики знакомые, подбросят. Денька через два встретимся, я только отпишусь и обратно к вам». Ладо кивнул головой, мол, не сомневаюсь, что приедешь, будто это только от нас двоих и зависело — свидеться или не свидеться. «Матушку свою увидишь?» — спросил меня Ладо. «Постараюсь», — сказал я, потому что не всегда в ту пору удавалось мне забежать к матери. «Постарайся, — велел Ладо. — И скажи матушке, что у нее еще один сын есть, Ладо зовут. Скажешь?!»

Меня всего жаром обдало, потому что это была клятва, клятва стоять здесь на Перекопе насмерть, клятва защитит от врага всех моих близких, клятва прикрыть собой, своей грудью, своей жизнью прикрыть мой отчий дом. На ум сразу пришли какие-то очень высокотожественные слова, но я тут же понял, что их не следует произносить, я даже спасибо не решился сказать Ладо и только пообещал: «Скажу, непременно скажу маме», но так и не выполнил своего обещания. Не смог. С матерью своей я, в силу не зависящих от меня причин, в те осенние дни так и не повидался, а в декабре того же сорок первого года фашисты расстреляли ее в противотанковом рву вблизи Симферополя.

А Ладо был ранен через несколько часов после этого нашего единственного за весь день перекура, отбивая бог знает какую уж по счету атаку немецких танков.

В санчасти мне сказали, что необходима сложная операция, и я вымолил разрешение отвезти Ладо в Джанкой, где в районной больнице работал старый хирург, которому я безоговорочно верил. Носилки поставили в кузов полугорки, мы с санинструктором сели по бокам, чтобы поддерживать их, и машина помчалась со всей возможной скоростью по разбитой пыльной дороге. Ладо еще в санчасти потерял сознание, но не бредил, не стонал, а, как мне казалось, дремал с полукрытыми глазами. Только однажды он спросил, и довольно громко спросил: «Далеко еще?», и я сказал: «Близко, Ладо, совсем уже близко. Уже виден джанкойский элеватор, а больница рядом с ним. У нас в Джанкое хорошая больница, и тебя в два счета поставят на ноги, Ладо, в два счета». Но этих утешительных слов моих Ладо уже не услышал — санинструктор вдруг прервал меня одним окончательным словом «Все».

Мы похоронили Ладо на старом и тесном джанкойском кладбище, рядом с могилкой моего отца. Не было, понятно, ни прощальных речей, ни прощального салюта — мне и в голову не пришло вытащить из кобуры пистолет, а санинструктор, пожилой и совершенно не военного вида и склада человек, вообще не имел при себе никакого оружия. Когда все было кончено, санинструктор спросил меня: «А твой отец кем был?». «Бойцом», — сказал я. — Он тоже на Перекопе воевал. Только в двадцатом». «Ага», — сказал санинструктор, и мы пошли к нашей машине, в которой, уронив голову на руль, спал безмерно уставший шофер.

В начале мая сорок четвертого года, когда наши войска освобождали Крым, я заехал на несколько часов в Джанкой. Дорогие мне могилы так заросли бурьяном, что я едва нашел их. А в следующий мой приезд, в сорок восьмом, уже ничего не было — ни бурьяна, ни могил, ни самого кладбища — его упряднили. Я и сейчас без содрогания не могу вспомнить, как, пройдя знакомую с детства улицу, увидел вместо кладбища... Но я тогда же, в тот же горький час дал себе слово никогда не писать об этом — ну как, как напишешь о том, что почувствовал я, что испытал, когда, внезапно обессилев, прислонился к стене какого-то сарайчика и увидел, что сложена она из раздробленных надгробий. Не только написать, но и рассказать об этом я за все эти годы не мог — ни своим близким, ни родным Ладо, когда наконец нашел их. Матери Ладо, которой сейчас уже далеко за семьдесят, я вообще не сказал, что он погиб, — я рассказываю ей, как мы встретились и как подружился, и всякий раз заново рассказываю однажды без угрызения совести придуманную историю, как нас с Ладо внезапно разлучили военные обстоятельства и каким веселым, юным, неунывающим, невредимым, здоровым я оставил его там, на Перекопе. Я говорю ей об этом, и вижу, по ее улыбке вижу, что вот таким именно веселым, юным, здоровым и невредимым она себе и представляет Ладо и таким, только таким она надеется в скором времени его увидеть — почти тридцать пять лет ожидания не поколебали ее веру, что сын жив (от нее скрыли похоронку и убедили, что Ладо пропал без вести) и что он вот-вот обязательно придет домой. Я знаю, что она умрет, если ее лишит надежды, в тот же час умрет, поэтому и не называю тут фамилии друга. Я даже его настоящего имени не называю. Нельзя. Более того, я никогда не позволяю себе приходить к матери Ладо в дурном настроении — она может подумать, что я узнал что-то плохое о Ладо. Вообще-то я нику-

дышний актер — я не могу шутить, когда мне не до шуток, не могу смеяться, когда мне не до смеха, но с матерью Ладо я, по-моему, довольно талантливо «играю», и когда этот чуждый мне талант иссякает, я просто умоляю. Старая женщина поощрительно мне улыбается — «мол, говори», но вместе с тем она терпеливо дожидается, пока я прерву молчание. А я ведь ненарочно молчу — я молчу из-за невозможности сказать правду и неспособности все время говорить неправду.

Но зачем этой старой грузинке такая моя правда?

Она убеждена в бессмертии своих детей — их у нее четверо, — в бессмертии своих внуков — их у нее уже одиннадцать, и есть правнучка двухлетняя Лиана, — и порой мне кажется, что она вообще не верит в существование смерти, кроме той, что ей, и только ей одной, предназначена: «Вот дождусь своего Ладо, а там пусть забирает, пожалуйста».

Все мы по-разному, всяк по-своему приобщились к душе грузинской, я вот так, а Шура по-иному. Исследователь, вероятно, начал бы с того, как это произошло в Шурином детстве, как он, мальчик, рожденный в Ростове, с первых своих шагов — буквально с первых шагов в жизни, с первого слова, услышанного во дворе, с первого знакомства с улицей, на которой жил, и с соседом по квартире — входит в мир, который называется Тбилиси, Грузия. Исследователь на исследовательском — научно-исследовательском языке — мог бы об этом здорово написать, а я не могу. Мне и представить себе это трудно, потому что мое детство — степное военное детство (и если мальчика Шуру будил в детстве усиленный горным эхом гром весенней грозы, то меня с самого раннего детства то и дело будил грохот орудий, винтовочные выстрелы и пулеметные очереди, а по вечерам в стеклах нашего дома отражалось пламя горящих в степи у Перекopa и Сиваша скирд).

Исследователь мог бы увидеть и показать, как происходит это переливание света, — исследователь, повторяю, оснащен всем необходимым для того, чтобы увидеть и самый свет, и самый процесс переливания света из души грузинской в душу школьника Цыбулевского... А мне уже взрослым довелось увидеть грузина Хораву в роли Отелло, мне уже взрослым довелось услышать Андгуладзе и Накашидзе, мне уже взрослым выпало счастье видеть балет с Чабукиани и Цигнадзе и слышать, как читают свои грузинские стихи поэты Леонидзе и Грипашвили, и стоять часами у картин Какабадзе, Пиросмани, Гудиашвили. И каждый раз меня, уже взрослого, с сединой в висках, с обгорелой, продымленной душой, бывалого, тертого, битого и уставшего от битья, охватывало ощущение, что это и есть встреча с обещанным, еще в детстве обещанным чудом, и потому я, даже не будучи исследователем, могу понять Шуру — сначала мальчика, затем подростка и юношу Шуру, чистая душа которого потянулась навстречу всем этим чудесам.

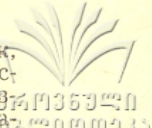
Переливание света.

Да — переливание света.

И еще: если бы я был исследователем, я показал бы, как способствовало такое переливание света рождению поэта Александра Цыбулевского, я бы рассказал, вернее, проанализировал бы, как повлияло на Шурино творчество, на формирование его художественного облика и его долголетнее, радостное, как он сам не раз говорил, сотрудничество с академиком Георгием Церетели, и дружеская близость к поэту Симону Чиковани, благословившему первую Шурину книгу, и долгая, на всю Шурину жизнь, прекрасная, как сама поэзия, а потому тоже похожая на чудо, дружба Шурина с Георгием, Гией Маргвелашвили.

Будь я исследователем, я непременно проанализировал бы и то, как, оставаясь русским писателем, Александр Цыбулевский уже обо всем писал — а писал он, конечно, не только о Тбилиси — как тбилисец. А это ведь интересно не только науке... Жаль, конечно, что я не исследователь, жаль... Ну, а раз уж так сложилось и я не литературовед, то моя задача намного легче и проще. И мне нисколько не трудно и ничуть не сложно доказать, что, начав рассказ о Шуре, я этим вовсе не прервал монолог о Тбилиси, а только вывел, по праву вывел на сцену одного из его авторов.

Да «Монолог о Тбилиси» — это не только мое сочинение, скорее оно больше Шурино. Или скажем так: Шурино и мое. Если вы знакомы с творчеством Александра Цыбулевского, то, читая «Монолог о Тбилиси», без труда узнаете — вот это из такого-то его рассказа, а это из такого-то его стихотворения. Разумеется, это будут не прямые, буква в букву, цитаты из произведений Шуры, а нечто не менее точное, ибо по сути Шурино. По самой сокровенной своей сути. А если в «Монologe о Тбилиси» вы обнаружите что-то такое, чего в его произведениях нет, то знайте, что это тоже в значительной мере Шурино, вернее, опять-таки Шурино и мое, потому что это из множества наших бесед о Тбилиси и тбилисцах. И тбилисцы из этого монолога, —



не выдумка моя, они наши общие с Шурой знакомые — и автолюб Ларик, и девушка с исправленным носом, и все другие названные и неназванные тбилисцы. Но вот в какой уже раз я написал слово **МОНОЛОГ** и думаю, что это в известной мере и не монолог даже, а изложенные таким вот образом мысли и образы из Шуриных произведений (и отбирал я все тщательно и придирчиво, и под прессом держал), а также мысли и образы из наших многолетних с Шурой диалогов о нашем городе, о его прошлом и будущем, о нашей любви к нему и о нашей за него тревоге.

В этом месте я позволю себе оговорить следующее: уже несколько раз я пишу в этом повествовании о Шуриных и своих тревогах за будущее Тбилиси, но прошу поверить мне, что в своих диалогах о судьбах нашего города мы никогда не брюзжали по поводу прогресса и НТР — «мы за них, за прогресс и НТР, мы всей душой и разумом за них — лишь бы они не были против нас», — так я могу сказать и за себя и за Шуру, а сам он однажды сказал об этом так: «Главное, чтобы человек устоял, чтобы сохранил свое человеческое, а там бог с ним, пусть летает себе со скоростью света с улицы на улицу, из города в город, с планеты на планету, пусть себе летает человек». Еще мы говорили с Шурой о том, что сейчас некоторые люди горячо и шумно обвиняют во всех своих бедах, неудачах, срывах — даже в тех, в которых они неопровержимо сами, и только сами виноваты — прогресс и НТР и что это стало чем-то вроде моды. «Если это новая мода, то очень уж дурная», — сказал Шура. «Дурная, конечно, мода, — согласился я, — Только она вовсе не новая. Нечто подобное было и во время войны. Помню, как тогдашние, «модники» говорили: «Ничего, ничего, война все спешет». Но вот прошли годы, а война все еще расплачивается и рассчитывается за свои собственные дела и пока никому, никому на свете еще ничего, вот столечко не списала. И НТР никому ничего не спешет. Никогда. «Наоборот — взывает. Так что лучше уж не по моде жить, а по совести. Так оно вернее и надежнее», — сказал Шура. Его интересовал нравственный аспект наших — каждого из нас — взаимоотношений с НТР и прежде всего нравственный аспект наших отношений — со зверьем, с птицами, деревьями, травами, с водой, землей, небом. Он считал, что это в высшей степени безнравственно — отравлять и уродовать землю. Но повторяю, мы никогда не пророчествовали и не предрекали никаких апокалиптических ужасов, мы только говорили о том, о чем в тревоге говорят сейчас многие люди на свете, и я даже не удивился, когда недавно прочитал в одном журнале почти то же самое, хотя и написанное позднее, что есть в Шуриных произведениях.

Судите сами: «Мы живем в век таррахтения — трах-таррахтения — победы механических звуков над тишиной. В итоге будет победа за тишиной, но тишина окажется мертвой, некому будет ее слышать» (повесть «Левкина история»). Или: «С утра авто копит, копит, копит» (стихотворение без названия).

Много подобных строк есть в стихах и прозе Цыбулевского и по поводу автокопоти и автотаррахтения, и по поводу автонаступления, автоатаки на все стороны нашей жизни. Шура откровенно боялся, что слишком рьяные поклонники автомобилей рано или поздно превратят Дворец Детских Радостей в Храм Автозапасных Частей и Покрышек. Так это и написано в рассказе «Плывет, куда ж нам плыть?». А вот так об этом же написано в одном московском журнале с цитатой (цитату я беру в кавычки) из журнала «КУРЬЕР ЮНЕСКО»: Более трехсот миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания насчитывается сегодня в мире. Миллионы тонн окиси углерода, углеводорода, окислов серы и азота выбрасывают они ежегодно в воздух, которым мы дышим. «Одно из двух — или люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, или дым сделает так, что на земле станет меньше людей».

Вот об этом мы и говорили с Шурой, это и было содержанием многих наших диалогов, часть которых, как уже сказано, после отбора и пребывания под прессом я изложил в монологе о Тбилиси. А под прессом с диалогами по законам какой-то особой химии происходят иной раз неожиданные превращения. На этот раз так оно и произошло: все в них гипертрофировалось — ирония превратилась в горечь, свобода изложения в бойкость и т. п. И когда я на мгновение представляю себе Шуру, читающего мой монолог о Тбилиси, мне становится неловко. И я готов взмолиться: «Шура, ради бога простите меня, кажется, я слишком бойко и, может, даже слишком весело — хотел бодро, а вышло весело — рассказываю все это. Но вы сами не любите тягучки и скуки — я видел вас грустным, неслогоохотливым, сосредоточенным, но скучным, а тем более скучающим никогда не видел. Поэтому и пишу так свободно, и еще потому, конечно, что кошки по сердцу скребут и боюсь — взвою» (это честнее)... Но кажется, все эти оправдательные слова ни к чему — Шура только морщится, чуть заметно улыбается и ничего не говорит

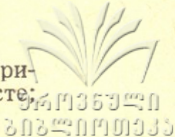
в укор, в порицание, так как еще в юности постиг секрет подобной «химии» и по своему опыту знает, как изменчива и капризна наша музыка»... Уже далеко за полночь, а я все читаю и перечитываю эти только что написанные страницы и все пытаюсь угадать, смогут ли они убедить вас, дорогой читатель, в том, что нет никакого греха в таком вольном, свободном построении повести. (Вдруг прервал, вдруг уклонился в сторону, вдруг перетасовал время и места действий и т. п.) Мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему так слились в моем сознании и в моей повести Шура и Тбилиси. Мне очень хочется и просто необходимо вас в этом убедить, и потому я так настойчиво повторяю, что это в равной мере повесть о них обоих, а также и обо мне, авторе, — о том, как я воспринимаю и дорогой мне город, и дорогого мне человека, повесть о том, как они вошли в мою жизнь и будут, будут пребывать в ней до последнего моего вздоха.

Сам, по доброй воле я с ними ни за что не разлучусь. По доброй воле, нет ни за что! Ну а придет срок... Потому, наверное, так упорно и называю я это свое произведение повестью, хотя хорошо понимаю, что в силу своей бессюжетности и размытой композиции, а вернее, полного отсутствия сюжета, произведение мое мало похоже на то, что теоретики именуют собственно повестью. Вы вправе сказать, что не видите никакой связи между разлукой и литературным жанром. Но тут я ничего не смогу поделаться — вы не видите, а я вижу... Я испытываю почти суеверное — во всяком случае почти необъяснимое — нежелание писать о Шуре и о Тбилиси в мемуарном жанре. Мне почему-то кажется, что стоит мне написать воспоминание о дорогом моем друге, как он тут же после последнего слова и последней точки уйдет из моего сердца. И уже навсегда уйдет — в разлуку, в безвозвратную разлуку.

Разумеется, настанет время, и кто-нибудь обязательно напишет о Шуре воспоминания, подробные, обширные, многоохватывающие, — он вошел в жизнь самых разных людей, и так вошел, что не позабудется. Еще напишут о нем мемуары, обязательно напишут, но только не я. Только не я. Не будь Шура писателем — тогда другое дело. А он ведь и сам не мало сказал о себе, об Александре Цыбулевском, — он, Александр Цыбулевский, есть в каждой строке стихов и прозы Александра Цыбулевского. И лучше, полнее, точнее его самого о нем уже никто не скажет. Но он, к сожалению и прискорбию, не все успел сказать — художнику никогда не хватает времени выполнить задуманное. Фантазии, замыслов ему отпущено больше, чем дней жизни. Все, вот именно все, художник никогда не успевает рассказать даже о самом себе. Я уже не говорю о том, что ему вообще не дано сказать, ну, например, о том, как он родился. Не как его рожали — об этом он может узнать у других — а как он сам родился. Что пережил при этом, что увидел... А уж о том... Никто не написал и не напишет, как он умер. Не как умирал — один мой приятель уже три раза умирал и, слава богу, жив до сих пор. — а как умер. Что это было? Взлет, падение, мрак, свет, муки-мученические и боль огненная или почти сладостное отдохновение от боли и страданий? Правда, в связи с успехами медицины и, в частности, ее службы анестезиологии и реанимации в печати иногда появляются сногсшибательные сообщения из этой области. Знакомый журналист, работавший некоторое время в Нью-Йорке, прочитал в одном тамошнем издании предлюбопытную статью: некий мистификатор, побывавший в состоянии клинической смерти и оживленный усилиями реаниматологов, делился своими свежими и «абсолютно достоверными» впечатлениями о потустороннем мире, где он встретился и беседовал со своими умершими в разное время родственниками и друзьями. Сенсация, да еще кака! Один из покойных друзей оживленного, занимавшийся при жизни политикой, высказался по поводу текущих и грядущих — с той стороны далеко видно и прошлое и будущее — политических событий, а бывший финансист высказал свои соображения по поводу инфляции. Конечно, в нашей печати ничего подобного вы не увидите... Но... в июне этого, 1976 года во многих наших городских и областных газетах была опубликована статья московского журналиста с титулом «научный обозреватель», которая начиналась так.

«Я был свидетелем и участником войны. Но на войне выжил. Я умер здесь, в центре Москвы, у себя в кабинете, в исследовательском институте. Последние слова, которые слышал, были слова фельдшера «Давление на нуле». После этого какое-то время я еще видел вокруг себя людей... потом мрак... очнулся в той же комнате. Первое, что услышал, — распоряжение о переносе в машину... Меня спасала «специальная бригада»...

Человеку, которого разум и воля медиков — слава им и низкий поклон — вырвали из лап смерти, все простительно: и взрыв эмоций, и замена одних понятий другими — ему, счастливому, не до точности. И он не задумываясь говорит слова «Я умер» или «Я с того света вернулся», хотя всем ясно, что это еще не с того, что он не был там, а только между тем и этим светом. Но



не будем придирааться к оживленному, нехорошо это, и к поэту не надо придирааться, когда он пишет о своем оживленном реаниматологами друге-артисте;

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отодубев,
Нам говоришь: «Вы все — туда,
А я — оттуда».

(А. Вознесенский «Реквием оптимистический»)

Ну что тут скажешь? Не скажешь же поэту «не оттуда, не оттуда» — язык не повернется и рука не поднимется — с какой стати стану я рушить и ниспровергать поэтическое построение. А вот журналисту, именуемому себя к тому же научным обозревателем, скажу: «Нехорошо поступаете, братец, нехорошо. Зачем вы выдаете желаемое за действительность. Зачем пишете, сразу же вслед за показаниями оживленного: «Эта запись документальна, она сделана со слов одного из сотен людей, ПЕРЕЖИВШИХ СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ». Зачем же вы так, братец? Вы же научный обозреватель и знаете, что это, как бы помягче сказать, не совсем точно, что клиническая смерть, а это о ней идет речь, длится всего пять-шесть минут (теоретически пять-шесть минут клинической смерти не предел, когда оживление еще возможно, говорят ученые, но это пока только теоретически) — да, всего пять-шесть минут, потому что лишь такое время могут, после того как остановилось сердце и прекратилось дыхание, жить клетки коры головного мозга — дальше они распадаются, и если в отпущенный срок не подоспела помощь реаниматологов, то наступает та НЕОБРАТИМАЯ, та ПОДЛИННАЯ, подводящая окончательную черту, которая и является настоящей границей между этим и тем светом. Ну а с той стороны настоящей границы никто еще, увы, не при- слал весточки. И, как ни горько думать, может, никогда и не придет. Так для чего же обольщать несбыточными надеждами и себя, и других, братец? Для чего?» Кажется, несмотря на все отвлечения и отклонения в разные стороны, я более или менее понятно объяснил, почему не хочу писать воспоминания о Шуре. Теперь мне остается самому себе уяснить, что же я все-таки пишу? По всему ясно, что это не повесть и не мемуары, в мемуарах, даже в самых прекрасных произведениях этого жанра, те, кого уже нет в живых, — те не живут, те неживые, а в рассказе, повести, романе все равно живые и все равно неживые — потому что придуманные они, сочиненные. Так что же все-таки я пишу... может, это следует обозначить сравнительно модным и сравнительно новым в нашем обиходе словом эссе, а может, наоборот, старомодным — трактат? Вот так, например: «ТРАКТАТ О ПЕРЕЛИВАНИИ СВЕТА». Но может, вообще не надо доискиваться... Какая в сущности мне разница, к какому жанру это мое сочинение относится. Во мне возникла необходимость сказать, высказаться, и я говорю, я высказываюсь, как могу и как хочу. Конечно, не стану врать, мне хочется, мне нужно, чтобы вас это тронуло, задело за сердце, но это уж как выйдет. И еще одно пояснение — раз уж пошли пояснения, прежде чем закончить эту главу: в данном моем произведении то и дело перемежается открытое, ясное «Я» и несколько абстрагированное «АВТОР». Объясняется это, как мне кажется, весьма просто: о нашем брате, литераторе, нередко даже в официальных документах говорят — автор. А в издательском договоре, например, так и пишется: «Фейгин Э. А., именуемый в дальнейшем «автор». И мне это нравится. Поскольку это Я и одновременно не Я. Некто иной. Имеющий возможность вознестись — в произведениях, разумеется, — над моим средним ростом, имеющий возможность судить обо всем независимо от моего настроения, моих обид, моей предвзятости и т. п. Вот я и пишу частенько взамен местоимения Я — слегка обезличенное, но справедливое, очищенное от всего суетного и мелкого — автор. Понятно? Ну, а раз все понятно, то автор, с вашего позволения, поведет свое повествование дальше.

ДИАЛОГИ, РЕМАРКИ, ЗАМЕТКИ

*** ...Я у Шуры в его пограничном доме. Он недавно из больницы, и ему предписан постельный режим. Мы разговариваем, разговариваем, и я вдруг скидываю глаз на часы. Шура это замечает. Он говорит: «Не уходите, посидите еще немного». А я чаще всего ухожу — дела. И я не лгу — действительно были дела, а теперь думаю, какого же черта я бежал к ним, к делам: ведь я же не предатель — Шура говорил: «Не уходите», а я: «Дела», и Шура молча соглашался, а может, и не соглашался вовсе, ведь молча...

ГОЛУБЯТНИК НА ЗЕЛЕННОЙ КРЫШЕ. Шура чуть-чуть подергивает постельный режим смягчен. После многомесячного перерыва Шура перебрался в свой кабинет и, подперев ладонью голову, вот уже час сидит на жестком распахнутом окне и все не может насмотреться, надышаться. Мы почти не разговариваем и лишь изредка обмениваемся короткими фразами, причем Шура только спрашивает, а я только отвечаю — боюсь помешать Шура в его уже неожиданном свидании с тем, что ему так дорого.

— И голубятник на своем месте, — уже не спрашивает, а просто говорит Шура. — Вот только опять обновил на крыше краску. А для чего? Может, для того, чтобы голуби не заблудились. Мне никогда не приходилось видеть такой зеленый цвет. А вам?

Крыша, по которой бегают или, скорее, мечется голубятник — отсюда на расстоянии это похоже на какую-то неистовую пляску, — действительно какая-то небывало, я бы сказал, неестественно зеленая. Да и сам голубятник... Джинсы на нем синие-синие, майка лимонного цвета, но более лимонного, чем лимон, а тряпка, или, вернее, тряпки, которые он вращает над своей головой, такие пестрые, что похожи на корабельные «флаги расцветивания».

— А голова у него вся в завитушках, — словно подслушав мои мысли, говорит Шура, — в черных, как сажа, завитушках.

— Интересно, сколько же ему лет?

— А что для таких людей возраст! Может, ему только двадцать, а может, и все пятьдесят.

— Отсюда, издали, он кажется совсем мальчишкой, подростком.

— Нет, он уже давно не подросток, — сказал Шура. — Я за ним уже года три вот с этого места наблюдаю. Он все такой же. А как-то я его на улице встретил. Лицом к лицу. Ну об этом я, помнится, рассказывал вам.

— Рассказывали. Вы, кажется, так и не познакомились.

— Не познакомился. Я уже хотел сказать: «Здравствуйте, я ваш сосед и поклонник вашего таланта», но тут его кто-то позвал.

— Вы считаете, что это талант?

— А вы понаблюдайте, понаблюдайте. Разве бесталанность так себя проявляет? И потому простить себе не могу: за эти три года со столькими не нужными, не интересными мне людьми познакомился... Для них время нашлось, а тут улицу перейти — и целый мир перед тобой. Новый мир. Неизведанный еще. И чрезвычайно интересный. Ох, ненавижу в себе эту душевную лень.

— Ну, будет вам! И чего вы себя терзаете, — сказал я. — Не сегодня, так завтра врач разрешит вам прогулки, и мы с вами сразу отправимся в гости к вашему азартному соседу. И если будет у вас желание — на крышу к нему полезем.

— На крышу?! — Шура покачал головой — Так он и пустит нас на крышу. На крыше он всегда один, дорогой мой. Сколько помню, всегда один. Потому что творит.

Я сдержался и никак не выразил своего отношения к этой последней его фразе. Но он тем не менее сразу опечалился. Он всегда печалился, когда люди не понимали что-то вот такое простое, очевидное, неопровержимое.

— Ох уж эти мне скептики, — вздохнул Шура. — Неужели и вы думаете, что творчество — привилегия художников?

— Побойтесь бога, Шура!

— Ладно уж, — сказал Шура и умолк. А это означало, что я ничего не опроверг и ни в чем его не убедил. Некоторое время мы вот так молча смотрели на бегающего по зеленой крыше голубятника, то на белых голубей в голубом небе. Ни Шура, насколько мне известно, ни я не приобщились в детстве к этой великой всепоглощающей охоте. И хотя я почти не разбираюсь в том, что происходит на зеленой крыше и в небе, меня с каждым мигом все больше и больше захватывал и чужой азарт, и незнакомое зрелище. Затем мне припомнилось, сначала смутно, а затем более определенно, что голубей, совершающих вот такие умопомрачительные фигуры высшего пилотажа, называют «вертунами», и я сказал об этом Шура, а он почему-то не поверил, а вернее, просто не согласился с таким названием.

— Вертуны — это мы, суетные люди. А голуби, по-моему, летуны. Да еще какие! Только почему он так кричит на них, почему свистит, почему все время угрожает? Ведь они же прекрасно летают. Вдохновенно летают. Ничего не понимаю. Ровным счетом ничего.

Я хотел сказать: «Вот познакомьтесь с голубятником, и он вам все объяснит», — но посмотрел на Шуру и понял, что не следует ему сейчас говорить об этом. Не надо.

СКУЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ. Здоровенный детина, в короткой, когда-то белой куртке, вкатил во двор тележку с мороженым. Ребятишки мигом окружили ее. Маленький Саша просит снизу: «Папочка, кинь мне денежку!», другие дети просят об этом же по-грузински, по-армянски, по-азербайджански, а одна девочка на каком-то незнакомом мне языке.

Шура завернул 20-копеечную монету в бумагу и бросил ее вниз. Но монета из бумаги вывалилась и — дзинь об асфальт. И из других окон, из множества окон, со всех этажей дома летят монеты — и дзинь-дзинь-дзинь.

Галдят ребятишки, звенят монеты, а мороженщик ни звука. Шуру это явно интригует — молчащий тбилисский мороженщик, это, знаете, загадка.

— Давайте спросим у Мальчика о мороженщике, он, конечно, все знает. — Мальчиком Шура в разговоре со мной и с другими товарищами почти всегда называет своего маленького Сашу. Некоторым это не нравится, а мне нравится — славно и уважительно это у Шуры получается — Мальчик.

Сашу сейчас не так легко дозваться, даже после трахкратного «иду» он появляется не скоро, наверное, мороженое вкуснее, когда его едят в обществе настоящих ценителей. И сразу же выясняется, что мороженщик — Мальчик действительно все знает о нем — разговаривает, конечно, но только очень шипящие слова говорит и очень тихо. «А все потому, что он жадный», — поясняет Саша. Оказывается, когда мороженщиков берут на работу, им устраивают специальный «мороженный пир» — им подают всякое мороженое, сто сортов, ешь сколько влезет. Умные и не жадные кандидаты в мороженщики едят или даже не едят, а только пробуют его крохотными ложечками, крохотными порциями, вот столечко на кончик языка и не больше — зная, что все лето, а то и целый год смогут им наслаждаться, а глупые, жадные загребают его большими, как лопаты, ложками и заглатывают целыми брикетами.

Наш мороженщик оказался самым глупым, самым жадным, самым скучным — жадные всегда скучные, у жадных забот много, некогда жадным веселиться — он слопал в один присест целый вагон мороженого, насквозь проморозился, схватил много разных ангин и с тех пор шипит, как гусь лапчатый.

— Бедняга, — сказал Шура. — Это ж надо ухитриться, потерять голос. И где он теперь его найдет? Он, наверное, и все хорошие буквы растерял, твой мороженщик. И даже самую для мороженщика главную.

— Какую такую главную? — насторожился Саша.


— Букву «Р».

— Какая же она главная?

— А ты попробуй скажи без нее слово мороженое. Ну как? Получается?

— Не получится, — сказал Саша и заторопился. Он был тогда не в ладах с буквой «Р», и ему явно не понравился такой поворот разговора — взрослые почему-то любят подолгу раскатывать это тархтящее, громыхающее Р, и Саше они советуют: «тренируйся», а Саша и не думает тренироваться, он предан милой, мягкой «Л» и ни за что не изменит ей.

Шура, улыбаясь, посмотрел ему вслед: — Мороженое — веселая еда, ее надо покупать у веселых, щедрых людей. А моему Мальчику приходится покупать у жадного и скучного. Да и вообще непохож этот мрачный молчун на тбилисских разносчиков. На той моей улице, ну, там, где я раньше жил, мороженщики появлялись почему-то по утрам, сразу же после зеленчиков и мадончиков. И все они были голосистые, жизнерадостные и по-своему щедрые — они вроде бы и не продавали, а угощали. И, уж конечно, умели рекламировать свой товар. Один, бывало, кричит: «Сливочный морожен! Как лед, холодный, как снег, белый!». А у другого наоборот: «Горячее мороженое! Налетай, разбирай, пока не остыло!», а третий еще дальше пошел: «Жареный морожен!» Неслыханно, а представьте себе, пользовался успехом. Я сам почему-то чаще всего у этого обманщика-изобретателя покупал. Объяснить этого не могу — только ноги меня сами именно к его тележке подводили. Вот такие у нас там были разносчики. Слово «мадони», например, каждый разносчик выпевал на свой лад. Были среди разносчиков басы, были баритоны, был и тенор — этот бывало как подымет, высоко-высоко, аж до неба подымет свое «В-е-н-и-к! В-е-н-и-к!» — заслушаешься. Ну, а бродячие, или, как у нас в Тбилиси говорили, ходячие, мастеравые исполняли свои партии построже: разносчики — как эстрадники, а мастеравые — как оперные артисты. Мастеровые или просто сообщали: «Паяем, лудим», «Ножи, ножницы точим», или просто приказывали: «Стекла вставлять!». Вставлять! И никаких разговорчиков. Когда-нибудь (Шура сказал «когда-нибудь», и боль пронзила мое сердце) я напишу что-то в виде оратории о разносчиках и бродячих мастеравых старого Тбилиси. Обо всех этих умолкнувших и умолкающих голосах. Найду хорошего композитора, засядем, поработаем, и, может быть, зазвучит.



ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ! (Возможно, что рассказ о земле я услышал от Шуры уже не в тот день, в другой. Но какое это имеет значение. Все в этой главе будет вразброс — как вспомнится, так и запишется.) Я тогда еще был совсем совсем молодой, сказал мне Шура. И я очень удивился: мне почудился застенчивый вздох в этих словах; до этого Шура никогда — ни в разговорах, ни в стихах, ни в прозе — не вздыхал по ушедшей молодости, как делают это вольно или невольно многие из нас. Да оно и понятно: довелось ему в самые молодые свои, цветущие годы испытать такие муки, такие страдания, вспоминать о которых можно лишь для того, чтобы проклинать, проклинать, проклинать. А Шуре чуждо всякое неистовство, и почти никогда не давал он воли подобным воспоминаниям. А тут — ох, до чего же я тогда был молод, сказал Шура. И всего у меня тогда было вдоволь — вот только времени для сна никогда не хватало. Ложился я поздно, и мама по утрам с превеликим трудом поднимала меня. И вот однажды чужой, незнакомый мне голос за окном. Мужской, но звонкий, ликующий голос. Я еще не понимаю, что кричит человек за окном, — а я, впрочем, уже не знаю точно, за окном ли это происходит, — кричит: «Земля! Земля!». Я проснулся от этого ликующего крика с радостной мыслью, что нахожусь на корабле, открывшем новый континент. И все же молодой сон оказался сильнее, и я, ослесливенный, обрадованный, тут же снова уснул. И снилось мне... нет, нет, врать не буду, сейчас я уже плохо помню, что мне снилось, и это неважно, потому что в тот же миг — а нововидение длиною в целый роман длится, говорят, всего полмига — опять послышался возглас: «Земля!», но не было в нем на этот раз ни ликования, ни радости, а было что-то очень тревожное, и я пробудился от страха... Что-то случилось с Землей. Что-то ужасное с ней случилось. Может, она сорвалась со своей оси? Боже ж ты мой, что же с ней теперь будет? И я ясно представил себе и земную ось, и нашу землю на ней, и как она соскакивает... и как падает, падает в черную бездну. Это было очень страшно. Почти невыносимо страшно. Но Молодой Сон оказался сильнее страха.

В третий раз слово «Земля» прозвучало, как оклик, оклик из другого мира, с другой планеты, из другой Вселенной. И то, что не смогли сделать радость и страх, сделало любопытство. Вот уж действительно всесильное чувство: оно сорвало меня с постели и полусонного — я наткался на вещи, как пьяный, — заставило подбежать к окну. За окном стоял коренастый человек в черной одежде, в черной кахетинской шапочке. И лицо, которое он вопросительно-выжидательно, чуть запрокинув голову, обратил ко мне, тоже показалось мне черным от многодневной густой щетины.

— Земля, — сообщил он мне спокойно и тихо. — Земля.

— Где земля? Какая земля? — заорал я спросонья.

— Как где? В мешке, — сказал он. Тут я увидел у него за плечами чем-то до половины заполненный мешок. Мешок я увидел, но спросонья, конечно, ничего не понял и, конечно, ни за что не поверил, чтобы Земля, наша планета Земля, чтобы она в мешке... глупости какие-то.

Человек за окном отвернулся от меня и, словно не чувствуя тяжести упрямой в мешок земли, легкой, бесшумной — он был в каламанах — походкой пошел прочь. Я был ему неинтересен и ненужен, он торговал землей для цветочных горшков и ящиков, ну а юнцы, каким я был тогда, домашних цветов не разводят.

ЭХ, КАК ДВИНУ ПО ЗУБАМ. Мне в тот день дважды нахамили — один раз на улице, а в другой, как это ни странно, в редакции. И я пришел к Шуре подавленный, хотя и попытался это скрыть от большого друга. Я делал вид, что ничего плохого со мной не произошло, а Шура делал вид, что не замечает моих переживаний. Наконец он не удержался и пошел в атаку на мое дурное настроение. Только, конечно, не в прямую атаку, не в лобовую.

— У меня сегодня врач был, но пользы от сегодняшнего его визита не предвижу, — сказал Шура. — Пришел он, понимаете, какой-то совершенно пришибленный, самого впору лечить. Я у него прямо спрашиваю: «Вам нездоровится, доктор?». А он отнекивается, оправдывается, но я же вижу, что ему худо, что ему надо выложиться, и нажимаю. Наконец он признался, что утром его один хам и подлец жестоко обидел. Тот его обидел, а этот, понимаете, даже к черту его не послал. Потому что воспитанный, потому что интеллигент, а это значит — терпи и не давай себе воли. «А почему, собственно, надо терпеть, — говорю я доктору, — Ведь это, наверно, и для здоровья опасно». «Опасно и даже очень опасно», — подтвердил доктор. И выдал мне лекцию на эту тему — оказывается, при отрицательных эмоциях в кровь выбрасывается большое количество особых химических веществ, вредно дейст-

вующих на сердце. Так что если мы «по-мужски», про себя переживаем все огорчения и обиды, то неизбежно наживаем так называемый «невроз неотраженных эмоций», а это уже и гипертония, и инфаркты. Вы, наверное, такой химии еще и не слышали?

— Нет, не пришлось.

— А я уже по себе знаю — пощадить от нее не жди. И вот решил: выйдороваю, и пусть только какой-нибудь хамила посмеет меня задеть. Пусть только посмеет — ох, и двину же я его по зубам! Так двину, что сразу два зуба вылетят — один вставной, из золота, другой свой, природный, — сказал Шура и нахмурился. А я, наоборот, рассмеялся, потому что вдруг представил себе, как летят ко всем чертям зубы моего сегодняшнего обидчика. А золота у него во рту предостаточно — бей, не промахнешься. Бац, и золотой за компанию с природным... Шура как-то очень смешно сказал про два зуба. Вот я и злорадствую — а это, должно быть, действительно радость, действительно весело, когда можно вот так отплатить обидчику. Вот и веселюсь. Бить их надо, мерзавцев, только бить! Вы правильно решили, Шура... И я тоже собираюсь... (Собираюсь, собираюсь, вот уже шестьдесят лет собираюсь и все еще не собрался.)

— Да, надо! — сказал Шура, но веселье мое ему определенно не понравилось. Он еще больше нахмурился и некоторое время молча, словно изучая, смотрел на свою сжатую в кулак руку. И вдруг быстро — а может, мне только показалось, что быстро, — не разжимая, упрятал ее в брючный карман.

ИЗ ПИСЬМА ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА: «Бесчеловечность, которая сокрушает ребра и раскалывает сознание, нашла в Шуре сильного противника, он все же сдерживает эту дробящую силу — и это запечатлено в каждой его разлетающейся — не разлетающейся — строке».

«Шура не обращал против НИХ (против бесчеловечных. — Э. Ф.) ИХ оружия, как это водится».

ОТ РАЗНЫХ ОТЦОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ. У Шуры в гостях малознакомый ему и мне человек — позвонил, передал Шуре привет от московских друзей, и Шура, вежливый, гостеприимный Шура, сказал: «Заходите». И вот уже битый час гость, стихотворец с довольно известной фамилией, информирует нас о малоизвестных или вовсе не известных нам событиях литературной жизни.

— А может, почитаете? — предлагает, пресытившись «деловой информацией», Шура.

— С удовольствием, — обрадовался гость. И развернулся. Читал он и просто «отдельные» стихи, и целые циклы стихов. Читал без передыха на аплодисменты, без пауз на раздумье, потому что не нуждался ни в нашем одобрении, ни в наших критических замечаниях. Я подивился терпению Шуры, потому что они, стихи эти, почти сплошь состояли из особо ненавистных Шуре перлов. Когда в третий раз, уже в шестнадцатом по счету стихотворении, прозвучало «Ветер шевелит листву», я решил: сейчас наш добрый хозяин взорвется. Но Шура не взорвался, он тбилисец, а для тбилисца гость всегда гость. А ведь совсем недавно одного не гостя, одного нашего тбилисского товарища Шура довольно резко одернул по поводу этого самого ветра и листвы (удивительно, что они непременно обнаруживаются во всех сделанных стихах). «А вы уверены, что листва шевелится только потому, что ветер?» «Нет, не уверен», — подумав немного, ответил наш тбилисский товарищ. И Шура, который желал ему добра, открыто, откровенно обрадовался: «И слава богу, что не уверены. Замечательно, что не уверены. Ну разве кто-нибудь знает, почему и зачем шевелится листва? Пока никто».

Но заезжий стихотворец, конечно, был уверен, что, не будь ветра, листва вовек не шелохнется и что у ветра нет других дел, чем эти самые листва шевелить. А Шура не пожелал разубеждать его в этом. Но вечером Шура сказал мне по телефону: «Мне думается, что сегодняшний мой гость счастливейший человек. Он уверен во всем, что пишет и говорит. И разумеется, он уверен, что поэзия ему единокровная, единоутробная сестра. Ну как скажешь такому, что в самом деле они родились от разных матерей и от разных отцов, а может, даже и на разных планетах».

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА. (Это уже не по телефону, это дня через два.) — Возможно, что, прочитав мою книгу, он скажет то же самое, поморщится, зевнет и скажет, что поэзия Цибулевскому не сестра... Ну что ж, это его право... Не мне судить, в каких мы с ней отношениях. Я к ней по родственному, а как она — не знаю...



ПЯТАЯ СТЕНА. Обыкновенная больничная палата — тумбочки белого цвета, три железные койки — Шурина у самого окна. А за окном, на крутом отвесном берегу Куры — Метехи, Горгасал на коне и повисшие над рекой зеленые балконы разноцветных домиков.

— По ночам, когда с улицы убираются автомобили, я слышу, как течет Кура, хотя, может, мне это только кажется. Мне кажется, что я слышу ее дыхание, — она ведь течет, как дышит. А вчера утром подхожу к окну, а на Куру плот. Настоящий. С людьми, с грузом. И знаете, появилась надежда — значит, еще можно куда-то уплыть... Побегать сейчас, не дожидаясь лифта, вниз на улицу, прыгнуть на плот и у самого поворота, прежде чем исчезнет Метехи, сказать: «Прощай, больница!». Я даже окно открыл, чтобы попросить плотовщиков: «Подождите!», но тут же сообразил, что и я нигде не уплыву, и плот нигде не плывет, что он на якоре, этот плот, что это кино снимают. И так я огорчился, и так обиделся на киношников, за обман обиделся, за иллюзию, что не подхожу со вчерашнего дня к окну. Не хочу... Ну их...

— Разрешите я похлопочу, чтобы вас перевели в другую палату — с окном во двор.

— Что вы! Я уже лежал в такой беспросветной больнице. Привезли меня в нее поздней ночью, а утром открываю глаза и вижу — за окном, почти вплотную к нему — пятая стена... Высокая глухая стена. И, судя по штукатурке, совсем новая, словно ее специально, как говорится, к моему прибытию возвели. И я, знаете, испугался, ведь в четырех стенах я уже погибал... Долго, мучительно погибал, но все же выкарабкался, выбрался. А из пятистенной этой камеры не выберусь — тут мне, Александру Цыбулевскому, и конец.

Я подумал: бедный Шура... Четыре стены, бесконечно, беспредельно долго четыре стены... И вдруг проснуться и увидеть пятую. Сколько же так можно, чтобы стены и стены... Вот и не выдержало сердце, вот и сдает.

И еще я подумал: перед глазами каждого человека хоть однажды возникает такая пятая стена. Четыре привычных, уже привычных, уже родных стены, и вдруг пятая... Или еще хуже — вдруг стены повсюду, со всех сторон, куда ни повернешься, стены. И я, разумеется, не раз наткнулся на стены. А однажды... Произошло это со мной в апреле сорок пятого года. Волею командования (генерал сказал: «Надо», а капитан сказал: «Слушаюсь») я неожиданно для себя оказался не на западе, где шли завершающие бои, а на востоке, в не знавшей затемнения и воздушных тревог столице фактически не воевавшего государства. Здесь в середине апреля уже было пол-летнему жарко, 36—38 в тени, и, намучившись за день в сапогах, зимних бриджах и кителе, я вечером с удовольствием переоделся в штатское — легкие брюки навыпуск, сорочка с короткими рукавами и сандалии на босу ногу — и отправился на прогулку.

Нет нужды объяснять, почему меня вдруг потянуло за рубеж уже знакомого мне района, поскольку такое, наверное, не раз и не два случается в жизни каждого человека. Не стану также объяснять, почему и как я заблудился — этого я и самому себе не могу объяснить. Заблудился... А что еще тут скажешь. Все было так интересно, так все было вновь, что я ничуть не обеспокоился, когда шумная, ярко освещенная, с нарядами, как в Париже, витринами улица привела меня незаметно на другую, победнее, поуже, потише, на уже почти совсем темную — один фонарь на углу — почти безлюдную, с одноэтажными домами. И тротуаров здесь уже не было, а была булыжная мостовая и, должно быть, очень и очень старая мостовая, и до того отшлифованная прохожими и проезжими, водой и ветром, что я даже поскользнулся, как на льду, когда ступил на нее. Первые несколько шагов по этой мостовой я сделал неуверенно, боясь снова поскользнуться, но быстро освоился и идти стало хорошо, и даже весело, потому что я неожиданно услышал свои собственные шаги — а я давно их не слышал — и обрадовался тому, что они такие легкие, свободные. Ну совсем, как прежние, довоенные... До войны в такую жаркую пору я носил только самую легкую, открытую обувь — и чаще всего вот такие сандалии... Но понятно, что не только в легкой обуви тут дело. Просто на душе стало легче — ведь скоро конец войне. Скоро... Скоро... Совсем уже скоро... Как оно прекрасно — это слово, какой музыкой оно звучит. Не знаю, как композиторы сочиняют песни, но у меня, повторяющего и напевающего на все лады изумительное слово «скоро», ей-богу, стала складываться песня... Что-то вроде марша. Но не строевого, не военного, а для такой вот совсем не военной прогулки. Для человека, идущего вольным, свободным шагом. Жаль, что я так и не досочинил ту песню — увлекательно моему занятию помешала внезапно возникшая отрезвляющая мысль, что слышу я свои давно не слышанные шаги только потому, что вокруг меня ни-

кого нет. Ни одной живой души. И вообще многого из того, что только что было, уже нет — булыжная мостовая, правда, все еще была, но зато домов уже не было. Вместо домов были высокие глинобитные заборы — дувалы. Стена справа, стена слева, а когда я прошел еще метров сорок-пятьдесят — все еще вперед, все еще по инерции вперед по булыжной мостовой, — точно такая же стена возникла и поперек улицы.

Тупик.

Я повернул назад, уверенный, что именно назад, а не в сторону, но через несколько минут от уверенности моей и следа не осталось, потому что огромный современный столичный город исчез и остались только стены, стены, стены.

Конечно, в каждом заборе были калитки, а в некоторых и ворота, правда запертые, но я понимал, что, если постучу, мне непременно откроют — ведь за этими стенами в глубине дворов стоят дома, а в них живут люди, и они мне откроют и помогут выбраться. Но я еще находился под властью добрых советов и полезных рекомендаций посольских товарищей. Нет, не буду пока стучаться в чужие калитки. Пока не буду. Здесь живут, как мне сказали, по закону «мой дом — моя крепость», и не следует — таков добрый совет опытных людей — никогда не следует вторгаться в эти крепости, если, конечно, в этом нет крайней нужды. А крайней пока нет. Я все еще надеюсь, что сам, сам... вот эта улица — а она скорее глубокая траншея, чем улица, — непременно выведет меня из лабиринта. Но опять стены справа и слева, и опять стена поперек, и опять тупик. Вот бежит, шлепая босыми ногами по булыжнику, мальчик. «Эй, постой, мальчик, подожди». Но мальчику явно некогда, у мальчика определено срочное дело, и он, не останавливаясь, пробегает мимо. А вот стучат по булыжнику чьи-то каблукки. Тонкие. Несомненно, дамские. И впрямь дамские — тут же показывается из-за угла женщина. Вся в черном. С головы до пят в черном. В парандже. Господи, как же мне быть?! Ведь нельзя. Ведь предупредили, что нельзя тут, не рекомендуется заговаривать с незнакомой женщиной на улице — могут быть большие неприятности. Ну и пусть будут! И я иду навстречу женщине и говорю: «Мадам, позвольте, мадам». Женщина на мгновение останавливается в нерешительности, затем смело — стук-звук высокими каблуками, стук-звук — идет мне навстречу и, поравнявшись со мной, открывает лицо. Нет, она не посмотрела на меня, а только открыла лицо, которое я так и не разглядел, и прошла, прошуршала мимо меня своими длинными черными одеждами.

До чего же верно и обстоятельно предупредили меня обо всем товарищи из посольства — ведь сказали же мне они, что некоторые местные женщины таким вот способом выражают свое отношение к чужакам-иноземцам: открывают перед ним лицо свое и «Смотри, чужеземец, сколько хочешь смотри, потому что ты не мужчина вовсе, чужеземец, нет, не мужчина».

Все это, конечно, хорошо, все это прекрасно, но при чем тут я? И снова я заматался от стены к стене, из одного глухого переулка в другой переулок, теряя вместе с надеждой выбраться и последние остатки самообладания. И такое отчаяние накатило на меня, что и рассказать невозможно. Отчаяние и страх. Да, самый обыкновенный, обнаженный страх, равный помрачению рассудка страх, что я останусь здесь, среди этих стен, навсегда... Кончится война, наступит мир, все вернутся домой на родину, а я...

Нет, этого я Шуре не расскажу — ведь те стены меня не держали и не удержали, я мог уйти и, когда сумел это сделать, ушел, и через полчаса уже был дома, и уже сам посмеивался над своим отчаянием и над своими страхами.

Как же можно об этом рассказывать Шуре? Стыдно такое рассказывать ему, стыдно.

А СЛОВА БЫЛИ РЫЖИЕ? Однажды под утро мне впервые в жизни приснился рассказ. Весь приснился, целиком, от первого до последнего слова. Обычно все свои сны я вижу, а тут ничего не привиделось. Был только голос, мой голос. И еще была мысль, что я сочинил рассказ, сейчас сочинил, в это мгновение, и вот наговариваю его в микрофон. И самый микрофон я, разумеется, тоже не видел, но зато твердо знал, что он есть, и когда проснулся, то некоторое время еще ощущал ладонью его металлический холодок. Странно, потому что никогда еще я эту штуковину в руках не держал — нет у меня ни магнитофона, ни диктофона — не обзавелся.

Рассказывать, а тем более записывать сны не в моих правилах, а этот я записал. В то же утро и теми же словами записал, которые мне приснились. И не ради самого рассказа, понятно, — зачем он мне, такой простенький, такой

неуклюжий и наивный, — а потому что в новинку: не наяву, ведь во сне сочинил. Впервые во сне. И Шура я по той же причине сообщил при встрече.

— Похоже, что я окончательно заграфоманился — представьте себе, да же во сне сочиняю

— Повесть? — спросил Шура.

— Нет, пока только рассказ. Пока только маленький рассказ под названием «Пончик».

— Appetitное название, — рассмеялся Шура, — Говорят, что, когда видишь во сне хлеб или, скажем, пирожки, — это к добру.

— А я ничего не видел, — сказал я. И пояснил Шура, каким он был, тот мой сон. Ну а поскольку Шура проявил интерес, то я и самый рассказ ему прочитал, не улучшая, не прихорашивая, прочитал, да и сейчас привожу его вам в том, первоизданном виде — ни слова, ни запятой не меняя (запятые и точки и прочие знаки я тоже наговаривал в микрофон — это я точно помню).

«...Во дворе большого многокорпусного дома сидит на скамье девочка лет шести-семи. Пухленькая, хорошенькая, черноволосая и черноглазая. В руках у нее яблоко. Красивое яблоко. Еще не тронутое.

Подходит подружка.

— Пончик, — это, видимо, дворовое прозвище девочки, — дай попробовать яблочко.

— Пробуй.

Подружка пробует.

— А теперь ты, — говорит она Пончику.

— А теперь я, — соглашается Пончик.

Подошел мальчик лет трех-четырёх — он явно из другой «компании», и девочки эти ему явно не подружки, но яблоко так приманчиво.

— А мне? И мне дай попробовать, — нерешительно просит мальчик.

— Пробуй, Ваню.

И вот яблоко уже надкусано с трех сторон.

— Давайте еще по кусочку откусим, — предлагает Пончик.

Дети втроем, сдвинув голоvenки, вгрызаются в яблоко: «хруп-хруп-хруп». Но тут пришел еще один мальчик — рыжий, веснушчатый, прекрасный. А в руке Пончика только хвостик от яблока — все уже «схрупали», только хвостик остался.

— Ну зачем ты опоздал? — с сожалением говорит Пончик.

— Подумаешь, яблоко, — говорит Рыжий. — Кислятина какая-то. А я вот тебя сейчас съем. Ты же у нас Пончик. А я люблю пончики — внутри крем, а сверху сахар... Очень люблю.

Так девочке по прозвищу Пончик впервые признался в любви мальчик. Рыжий мальчик. Веснушчатый. Прекрасный».


— А слова были рыжие? — спросил Шура. Я пожал плечами, я просто не помнил, какого цвета были слова, которые мне приснились. Скорее всего, они были вовсе без цвета. Скорее всего.

— А вы не сомневайтесь, рыжий цвет — добрый цвет, — сказал Шура. — И если бы все слова в рассказе... Вот было бы здорово... И еще хорошо бы какой-нибудь рыжий-прерыжий эпилот. Традиционный. Ну такой, например, — только простите мне, ради бога, мои бесцветные слова, — да, что-нибудь в таком духе: «А когда настало время, они поженились и жили долго, до самой смерти в любви и согласии и народили много добрых красивых, огненно-рыжих мальчиков и девочек. И только одна младшая пошла в мать — она родилась черноволосая и черноглазая».

И ЛОШАДАМ НУЖНЫ ПРАЗДНИКИ... а ослик копытцами — топ-топ-топ... Мацонщик в каламанах, его шаги не слышны, а шаги ослика звучат на всю еще спящую улицу... И ты просыпаешься легко, как на праздник. Каждое утро как на праздник. Их надо непременно в ораторию, эти тбилисские утра.

Об оратории, посвященной разносчикам и «ходячим» мастерским старого Тбилиси, Шура сказал мне впервые месяца три тому назад и больше ни разу не вспоминал о ней, но раз он опять заговорил об оратории, то, значит, все это время о ней думал и, может, уже даже сделал заготовки для этого будущего сочинения.

— В годы моего детства рассветы в Тбилиси начинались с того, что в город со всех сторон вступали ослики... Вот именно вступали — бегущие, скачущие ослики мне как-то не запомнились, почему-то больше всего запомнились стоящие ослики, а они, знаете, удивительно стояли — мацонщик или



зеленщик разносит свой товар по квартирам, а ослик стоит себе на улице или во дворе, и, конечно, не привязанный — там, где его хозяин оставит, там и стоит. Задумчивый такой стоит — этаким погруженный в свои думы, маленький седеющий мудрец. А вам какими они запомнились?

— А я их в Тбилиси почти не застал. Зато мне хорошо запомнилось постановление, запрещающее им появляться в городе.

— Закон есть закон, — сказал Шура. — Но мне лично и от себя лично очень хотелось бы извиниться перед ними за этот запрет. Только, кажется, и извиняться уже не перед кем.

— Да, пожалуй, не перед кем.

— Обидно. И знаете, наши пригородные крестьяне очень их любили. Они у них были все тогда ухоженные, сытые, чистые. Я не припомню, чтобы в руках у зеленщика или мадонщика были палка, кнут или хворостина.

— Зато керосинщики без кнута ни шагу. И палками они били своих лошадей, и ногами, и кулаками.

— Да, ужасно они их били. И лошади у керосинщиков все были замученные, какие-то унылые доходяги, а не лошади. Но однажды я их увидел другими. Преображенными. Один керосинщик выдавал замуж свою дочь, а я как раз оказался на той улице, где он жил, и увидел, со стороны, конечно, увидел, свадьбу. И удивительный хоровод девушек увидел. И танец мужчин. Затем были скачки на неоседланных лошадях — керосинщики вспомнили, наверное, что происходят они не от торговцев, а от пастухов-наездников, и стали от этого красивыми, добрыми, веселыми, и лошади под ними тоже стали удивительно красивыми, веселыми — даже веселее своих хозяев. Да, лошади были те же самые, что изо дня в день таскали по тбилисским улицам повозки керосинщиков, и уже совсем не те это были лошади... Так сразу и не узнаешь. Я своего давнего знакомого, Одноглазого, и то не сразу узнал, а ведь видел его на нашей улице почти каждый день и был хорошо знаком и с его биографией, и с его повадками. Я даже некоторые его, так сказать, личные секреты знал. Знал, например, что налево, в видимый, зримый мир, он идет охотно сам, а направо — в незримое, темное направо — способен повернуть только по хозяйскому приказу, по принуждению. Знал я и печальную историю Одноглазого, который в молодости своей стал жертвой кровной мести — сын его хозяина, десятилетний тогда мальчишка, разбил в минутной уличной стычке нос своему другу, а мать этого неудачника, увидев окровавленного сынка, завопила: «Убили!». И началось. Отец «убитого», с окровавленной рубашкой в одной руке и с ножом в другой, помчался «брать кровь за кровь». Перепуганного керосинщика и его мальчишку спрятали добрые люди, а его повозка с конем так и осталась посреди улицы. На него-то, на беззащитного конягу, и обрушился разъяренный мститель, у него-то и «взял кровь». Несколько ударов ножа, и молодой и, говорят, красивый — я лично красивым его не помню, он тогда на нашей улице еще не работал — на всю жизнь стал печальным, жалким инвалидом Одноглазым. Но вот передо мной уже не инвалид Одноглазый, а чудо-конь из сказки — грива развевается, шея дугой, а хвост трубой, — и весь, потому что помыли и почистили, золотисто-золотой, так и сверкает на солнце, будто из червонного самородка сделан. Красавец, каким он и в молодости, наверное, не был. И свадебные ленты ему к лицу — на старом, грязном одре, каким он был в обыденной жизни, они казались бы нелепыми, смешными. В общем, было чему удивляться. Но больше всего я удивился, когда вдруг услышал голос Одноглазого. Впервые услышал. Мне почему-то казалось, что он вообще безголосый, а тут он вдруг заржал, да так звонко, так весело. Чудо, настоящее чудо. И вот в ответ под другим всадником-керосинщиком заржал конь. А потом третий, и еще один уже на другом конце улицы. И знаете, я рассмеялся — стою один на улице и смеюсь, от радости смеюсь, потому что это ведь редкая удача — услышать такой праздничный лошадиный хор. Нет, что ни говорите, а лошадям, даже замученным, замордованным лошадям, нужны праздники. Нельзя им без праздников. Никак нельзя.

ШУРА И БАБА ГРУНЯ. Шура сам открыл мне дверь — жена Кира на работе, Мальчик в школе.

— Не помешаю?

— Что вы!

— Работали?

— Нет, слушал радио.

И верно: на письменном столе транзистор. Это уже что-то новое — не помню, чтобы Шура прежде интересовался радио и телевизором.

— Отранзистились? — говорю я без всякого укора, так как сам, давно уже принадлежа к несметной армии радиослушателей и телезрителей.

— Отранзистился, — подтверждает Шура. — И знаете, когда человек оному же болен, ему лучше слушать пульс планеты... Так, кажется, об этом говорят и пишут?

— Да, так.

— Так вот — лучше слушать пульс планеты, чем собственный, личный пульс. Тем более что он все барахлит и барахлит... Так что зря вы так удивлены моим транзистором — я же все-таки не баба Груня.

Ох, уж эта баба Груня...

Ей уже за девяносто, нашей общей знакомой бабе Груне — так она сама себя величает и так ее называют соседи. Когда-то («Я тогда молоденькая и красивая была», — говорит баба Груня) еще в прошлом веке ее привез из Сибири отбывший там каторгу, тоже молодой и тоже красивый («Еще красивше меня», — признает баба Груня) грузин по имени Арчил. Про Арчила, сгинувшего еще на той, дореволюционной войне, баба Груня вспоминает добрыми, хорошими словами вспоминает — еще бы, ведь первая любовь, — а про других (были, как сообщают соседи, и другие мужья, да всех пережила бессмертная баба Груня), а про других и про другое нет, не вспоминает. Либо забыла, либо хочет забыть, поскольку «ничего хорошего» — это она как-то сказала одной соседке. Теперь баба Груня торгует по месту своего жительства в Н-ском переулке жареными семечками, без патента, разумеется, торгует и несмотря на строжайший запрет санназдора (вот потому и Н-ский переулок). Лингвистическую грамотность свою бабка с годами растеряла и, когда получает пенсию, с трудом выводит, как подучил почтальон, какую-то закорючку, газеты и журналы держит в доме только старые, выпрошенные у соседей и у знакомых (и у нас с Шурой), у них они, по мнению бабы Груни, без пользы, а у нее для дела, на кулечки и пакетики для товара. Телевизора и радио баба Груня так и не приобрела и сделала это, так сказать, из принципиальных соображений: «Понять не могу, как ты их терпишь, — сказала баба Груня при нас своей соседке, тоже пенсионерке, но годами помоложе, — это же все одно что посторонних в комнату пустить. Один все время за тобой через стеклышко подглядывает, другой все время что-то бормочит и бормочит». Соседка принялась разъяснять бабе Груне, что сейчас просто невозможно жить без радио и телевизора, потому что они всегда дают свежую информацию. «Чего, чего?» — не поняла баба Груня. «Свежую информацию тебе дают — свежие новости, значит», — пояснила соседка. «А у меня своих новостей больше чем нужно, — сказала баба Груня, — у меня что ни день, то свежая новость — сегодня одна болезнь, завтра другая. Они меня скоро в гроб загонят, эти мои новости». «Поговорили, называется, насчет информации», — рассмеялся Шура. Но обидчивая и самолюбивая баба Груня на Шуру за непочтительный этот смех не рассердилась. И даже объяснила, почему не рассердилась: «Правильно смеешься — смешно, когда такая старуха-развалюха о своих болезнях говорит. Кому же еще болеть, если не старухам?». А может, и хитрила старая, это за ней водится, и просто не показала, что сердится. Невыгодно. Шура хотя и не покупатель, но для торгового ее «дела» человек весьма полезный, поскольку частенько дарит бабе Груне иллюстрированные журналы. А иллюстрированным, с яркими, многокрасочными картинками баба Груня отдает предпочтение. Дело в том, что товар у нее не ахти какой — семечки мелкие-премелкие и жарены со всяким мусором (я лично думаю, что это у бабы Груни слепоу получается, но довелось мне слышать от людей и другое мнение), ну а если такой неважнецкий товар в пакетик с яркой картинкой — тогда другой разговор. И баба Груня говорит, это она умеет, на четырех языках умеет — по-грузински, по-русски, по-армянски, по-азербайджански (среди коренных тбилисцев такое многоязычие издревле почти обычное явление), и первым делом она, разумеется, говорит о своем товаре (она азартная коммерсантка, наша баба Груня), о его потрясающих достоинствах. Девочке-подростку она при нас говорит: «Давай свои тридцать копеек и гызы на здоровье. Женщине подсолнух («А баба Груня солнцеклонница, — сказал мне позднее Шура. — Ведь подсолнух — это непосредственно от солнца!») полезнее всего. Женщина от подсолнуха до ста лет живет. Не веришь? Ну, если не веришь, на меня посмотри. Мне до ста, может, вот столько осталось, — она показывает пятерню. — А я, погляди, какая еще здоровая, здоровей других молоденьких, — утверждает баба Груня, позабыв, что только что жаловалась нам на свои болезни. — И мужчинам, конечно, от подсолнуха прямая польза. — Это уже нам, мне и Шуре. — Те, кто семечки грызет, те от вина не так дуреют. Вот попробуйте, сами попробуйте! И от табака вашего вредящего подсолнух первое средство. Тут



одно с двух — или семечки грызть, или папироску сосать. А вместе никак не получится. Вот попробуйте, сами попробуйте, если мне не верите! А это касается до главного мужского дела, так тут подсолнух все — кто с подсолнухом, тот в какой хочешь старости не ослабнет. Думаете, вру, думаете, сказки рассказываю? Ну так сами проверьте, сами попробуйте!» — советует баба Груня и подмигивает нам, лукаво, озорно подмигивает, и глаза ее смеются — тонкие губы плотно и сурово сжаты, а глаза, похожие на две маленькие блестящие бусинки, лукавые, веселые — глаза у нее еще удивительно молодые и потому никак «не вписываются» в ее старое-престарое, сморщенное-пресморщенное лицо.

Мы благодарим бабу Груню за полезные «научно-медицинские» советы, но семечки у нее не покупаем. Баба Груня огорчена — не уговорила, не обольстила — и уже не скрывает этого. «Профессура, — бормочет она. — Сразу видно, что профессура».

Шура никогда не терял интереса к бабе Груне. И даже когда она несла всякий вздор, он выслушивал ее с удивительным вниманием и терпением. И я понимал почему: ведь баба Груня частица Тбилиси, уже отмирающая, отпадающая частица, вот-вот оторвется, отломится от древнего и вечного ствола пересохшая веточка, и надо, пока еще не поздно, запечатлеть ее в своей памяти, в своей душе.

— Скоро таких не будет. Лучше будут, хуже будут... А такие... Нет, такие уже не появятся.

Шура сказал мне это сразу же после того разговора по поводу информации о пользе подсолнуха. И еще он сказал тогда:

— А вы обратили внимание, какие у нее уши — они у нее острые и торчком... Как две антенны. И целый день, с утра до ночи, на них ниточка за ниточкой наматывается информация. Всякая — полезная и бесполезная. От нас с вами. От девочки-подростка. От соседки и соседей. От прохожих и проезжих. Так зачем ей в самом деле радио и телевизор. Она сама и радио, и телевизор, если хотите знать. Сама, — сказал тогда Шура. А сейчас Шура говорит: «Я же все-таки не баба Груня». И у Шуры на письменном столе транзистор, а в одной из комнат — телевизор. Правда, к телевизору он так и остался равнодушен, а вот к радиоприемнику пристрастился. «Потому что интересно, — признается Шура. — И даже бывает очень интересно, — и, словно прислушиваясь к тому, как это звучит — не фальшиво ли? — повторяет: — Пульс планеты. А ведь верно — пульс».

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА. (Разумеется, давнего разговора продолжение) — Трезвон, который поднимает по утрам мусорщик, конечно, и до меня доходит. Но смутно, сквозь сон доходит. И я не просыпаюсь. И это из врожденной лени, наверное. Зато рожок молочника меня поднимает сразу — а это, вероятно, из врожденной любви к молоку, — говорит Шура. Но я принимаю это как милую шутку, потому что Шура и лень, Шура и молоко... Нет, не замечал я что-то за ним подобных пристрастий.


СКОРОСТНОЙ БЕГ НА МЕСТЕ. Теплый осенний день. Как хорошо в такую пору гулять по тбилисским улицам. И мы с Шурой уже часа два бродим — сначала по набережной, затем по старым кривым переулкам в районе бывшего Арсенала и вот снова через площадь Карла Маркса спускаемся на набережную.

— Не устали еще? — спрашивает Шура.
— А вы?

Шура в ответ смеется — он еще вполне здоров, еще не «чувствует сердца», он только на днях вернулся из длительной экспедиции, а в экспедиции человека ноги кормят, и вообще он, как и я, по призванию, по природе своей — пешеход.

— Погуляем еще с часок?
— Погуляем!

На площади большая, и сразу видно, что безнадежная очередь на такси — пассажиров много, а машин пока ни одной. Но мы с Шурой никуда не собираемся ехать, мы никуда не спешим и проходим мимо очереди с чувством превосходства (неосознанного, понятно, это сейчас я его сознаю) свободных над несвободными — все они в этой огромной очереди словно одной цепью скованы, цепью терпения и ожидания, а мы независимые, мы раскованные, мы, как уже сказано, — пешеходы. (Тщета, тщета! Всякая мысль о превосходстве, о бесполезном, в сущности, превосходстве, даже такая невинная, как эта, — самообман, тщета. Но это тоже только теперь до конца осозна-



но. Поздно вато, конечно, да что поделаешь). Да, мы вольные пешеходы, мы «на своих двоих», а вот этому элегантному дяденьке, с элегантно седой висках, в элегантно темно-серой «тройке», с суперэлегантным плоским ящичком-портфелем в руке, судя по всему, до зарезу нужны сейчас «четыре автомобильных». Ох, как отчаянно метнулся он вдоль очереди — от хвоста к голове, от головы к хвосту, — как растерянно остановился, поняв, что очередь бесперспективна, и как ужаснулся, когда минутная стрелка уличных электрочасов шумно и неудержимо — словно с обрыва в пропасть сорвалась, словно вниз головой — и в лепешку — упала с пятнадцатой черточки на шестнадцатую. Ужаснулся и, размахивая своим черным ящичком-портфелем (до чего же стильная штука такой портфель, и как возбуждает он воображение всем своим видом, намекая на какую-то тайну: дипломатическую, коммерческую, шпионскую, семейную и дьявол его знает еще какую. Короче говоря, это шик-блеск, современность — такой портфельчик) побежал через улицу к мосту, рискуя попасть под трамвай или автобус.

— Должно быть, страшно опаздывает, бедняга, — сказал я.

— Не беспокойтесь, не опоздает, — сказал Шура.

— А вы его знаете?

— Знаю.

— И знаете, куда он так спешит?

— Знаю. И даже очень хорошо знаю. А вот вы попробуйте угадajte.

— А чего тут гадать. Без особой нужды так не торопятся — скорей всего, у него важное совещание.

— Отпадает, — возразил Шура. — Никаких совещаний. Сегодня воскресенье.

— Ну так что же, — сказал я, — все равно он по делу бежит. Непременно по делу.

— Отпадает, — сказал Шура. — По делу и за делом он не побежит — он считает, что дела сами должны за ним бегать.

— Дела за ним, а он от них, — рассмеялся я.

— Ну, может быть, и так, — сказал Шура.

— Позвольте, позвольте, мне кажется, что я уже понял, куда он торопится, — где-то ждут его хорошее вино и друзья за пиршественным столом?

— И это тоже отпадает. Вина он уже давно не пьет — бережет здоровье. И пирушки считает пережитком и пустой тратой времени.

— Значит, и нарды отпадают, и карты, и шахматы, и домино?

— Отпадают.

— Все ясно, — сказал я. — Это он к Джульетте своей на свидание спешит.

— Его жену зовут Офелия, — сказал Шура. — Она старше него на пять лет, весит больше центнера и не бреет усы только потому, что среди женщин это не принято. Ну а что касается характера, так она — а это я точно вам говорю, сам убедился — даже разговаривать не умеет, она только визжит от злости и только орет. На всех орет: на мужа, на детей, на почтальонов, врачей, соседей, таксистов, продавцов. И вы хотите, чтобы человек к такой ведьме бежал на свидание?

— Ага, понял! Ну так, значит, это он от нее бежит.

— От нее сбежишь! Была бы хоть какая возможность, он сбежал бы, конечно. Но он ее ужасно боится. И ее, и ее трех братьев — у них пудовые кулаки и вообще вес...

— Так куда же все-таки он так спешит?

— А куда.

— Что значит куда?! Вы же видите, он все бегом.

— Да, бегом. Но это бег на месте. Скоростной бег на месте. Он очень боится прослыть отстающим, отсталым.

— Прослыть?

— Вот именно, прослыть. Для таких, как он, прослыть в тысячу раз важнее, чем БЫТЬ. Да и нет у него времени, чтобы СТАТЬ и БЫТЬ. И нет у него времени, чтобы подумать и разобраться в том, что вокруг него происходит, в том, что такое прогресс и НТР и почему это и для чего это... Однажды его словно вихрем подхватил страх прослыть отставшим от века — подумать только, отставшим от века! И с той минуты он все бежит и бежит и будет бежать, пока от непосильных перегрузок не разорвется сердце.

— Несчастный.

— Может, и несчастный. Но если честно, то я вот не знаю: жалеть его или не жалеть, смеяться над ним или не смеяться — не знаю.



ВНУТРЕННИЕ, РАСТВОРЕННЫЕ. Однажды я увидел Шуру спешащим почти бегущим по улице. Оказывается, у него была условлена встреча с Гией, но вышла непредвиденная задержка в институте, и вот он уже опаздывает.

— На двадцать семь минут, на целых двадцать семь, — сообщил мне на ходу Шура. — Кошмар какой-то! И вы извините — бегу.

Назавтра я спросил у Шуры:

— Опоздали?

— Нет, мы с Гией одновременно оказались у входа в «Мерани», где договорились встретиться.

— И часы, Гиины и ваши часы, показывали одно и то же время?

— А мы на них не посмотрели. Нужды в том не было, раз мы пришли одновременно. Раз мы пришли одновременно, значит, никто никого не обидел и не возникла надобность что-то объяснять и выяснять. Впрочем, я думаю, что часы наши идут синхронно — мы же сверяем их по одним и тем же радиосигналам точного времени.

— Но тут, по-моему, что-то более точное, чем синхронность?

— Больше, — согласился Шура. — Тут, если хотите знать, дело совсем в иных часах. Не в тех, что вовне, а в тех, что в нас. Во внутренних часах. Вмонтированных... Нет, не вмонтированных, извините, это же что-то роботское, а растворенных... В крови растворенных.

Я знал кое-что о биологических часах, которыми создающая снабдила каждое живое существо, но о таких... О таких Растворенных в крови часах еще не слышал. Должно быть, это прекрасно, это счастье — обладать такими, и было бы великим благом, если бы все люди могли жить, пользуясь Внутренними, Растворенными часами, а не рукотворными механизмами из металлов, пластика и полудрагоценных камней. Хорошо бы... А пока что можно только позавидовать Шуре и Гии...

ВЗЛЕТЯТ! НЕПРЕМЕННО ВЗЛЕТЯТ! — Не летят. И похоже, что и не полетят. Хоть плачь, хоть рыдай над ними, а они не взлетают. И все, — пожаловался мне Шура. Горько, с обидой пожаловался, и я, недоумевая, подумал: «Неужели это он о голубях и голубятнике так?». Но Шура тут же рассеял мое недоумение, указав глазами на свою рабочую тетрадь — раскрытая, она лежала на столе, и я увидел строки, короткие строки столбиком. Так вот оно что: Шура кажется, что стихотворение у него не летит, а может, даже не все стихотворение, а одна какая-нибудь упрямая строка или даже одно какое-то «не то» слово. Господи, как все это несправедливо устроено — какой-нибудь бездарный стихотворец, конечно, ничуть не сомневается, что у него все стихи и все слова летающие, что и сам он «в орлином полете». А поэт Александр Цыбулевский способен замучить себя из-за одного неудачного слова.

— Может быть, вы просто устали, Шура?

— Нисколько. Да и с чего бы это. Тут дело не в усталости и не в силе. Силой их от бумаги не оторвешь, силой их с мест не сдвинешь. Будто это даже и не слова, а камни, глубоко вросшие в землю камни... Бесформенные, никому не нужные камни.

— Все ясно, — сказал я. — Раз уж такой разговор пошел, то тетрадь вам лучше всего закрыть. Закрыть и отложить в сторону. Ну хотя бы до утра, если вам так уж не терпится. А утром все ваши нелетающие слова и строчки непременно взлетят.

— Так уж и взлетят!

— Вот увидите, взлетят. Это неоднократно проверенный способ — способ дяди Савелия.

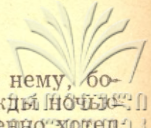
— И у него что — все стихи непременно взлетели?

— А он не писал стихов.

— Значит, он не поэт, ваш дядя Савелий.

— Почему же не поэт, поэт. Работал он, правда, колесником, но родился, несомненно, поэтом. Наверное, он потому так и запомнился мне на всю жизнь, никем еще не прославленный и не воспетый и сам ничем не обессмертивший свое имя (боюсь, что за эти полвека уже не осталось на свете ни одного сотворенного им колеса, но если и осталось, если еще крутится, если еще бегаёт по дорогам Таврии, то кому и что оно скажет о своем создателе? Человек и то нередко забывает о создавших его, а с колеса какой спрос) джанкой-кустарь-одиночка колесник Савелий Михайлович Еремин.

Сын кузнеца, я, как было заведено тогда, тоже должен был стать кузнецом, ну а если не кузнецом, то во всех случаях «пойти по металлу», как говорил отец, и, чтобы не соблазнился я чем-нибудь иным, он с малых лет стал причучать меня к горну, наковальне, тискам. И мне, мальцу, очень это нравилось. Нравилось потому, что позволяло мне сколько душе угодно быть при от-



це. (С того дня, как отец вернулся с войны, я буквально «прилип» к нему, боясь, что это опять ненадолго, что опять только «побывка» и что однажды ночью отец опять исчезнет на многие годы.) Нравилось потому, что я непременно хотел стать таким, как отец, — таким умным, таким сильным. В наших краях до сих пор рассказывают были и небыллицы о физической силе моего отца, о том, как кузнец Абрам ударом кулака оглушил и поставил на колени знаменитого на весь район быка Керзона — в тот день взбешенный зверь этот покалечил немало людей, а кузнец Абрам кулачищем своим железным хлоп его по лбу — и тот на колени; о том, как без всякой надути разгibal кузнец Абрам руками две склепанные ухналями подковы; и о том, как он сплющивал пальцами — двумя пальцами — указательным и средним — медные царские пятаки. И таким добрым и справедливым, как отец, хотел я стать. И уж конечно, я непременно стану таким замечательным кузнецом, как мой отец, который мог любую железяку, даже бросовую, искореженную, ржавую, превратить в красивую, нужную вещь — я не сомневался, что демех и подкова, рожденные под молотком отца, на его наковальне, лучшие на всем свете, а обыкновенное кресало, которое отец сделал для своего друга-табакура, казалось мне, высекает не искры, а молнии. Я так гордился своим всемогущим отцом, так подражал ему, так играл в него, что не только приятелям своим, которые сами были изрядными хвастунами и к подобным себе относились терпимо, но и правдивой бабушке своей, неумолимо каравшей меня за малейшую придумку и преувеличение, я не моргнув глазом сообщил: «Мы с папой что угодно отковать можем... Можем и саблю, можем и паровоз. Нам бы только железа да уголька побольше». Короче говоря, меня в ту пору из кузни выгонять приходилось (позднее бывало, что я и сам из нее убежал, позднее бывало, что в кузню меня и калачом заманить было невозможно, бывало), и я очень неохотно выполнял отцовские приказы: «А ну, марш гулять!», «А ну, марш готовить уроки», но зато стоило отцу сказать: «А ну-ка сбегай к дяде Савелию», и я с превеликой радостью стремглав мчался на другой конец города к колеснику, который в моем тогдашнем представлении был почти ровня отцу — дядю Савелия я тоже считал великим мастером.

Еще и то влекло меня в мастерскую дяди Савелия, что кузня и колесня — это два разных мира, хотя делают они в общем одно и то же — возок, линейку, дрожки, бидарку, ход, бричку, тачанку. Там, в кузне, — царство металла и огня, там запах курного угля, смазки, разогретого и остывающего железа, а здесь, в колесне, — запах дерева, запах лесной России, лесов которой я, мальчик-степняк, еще не видел.

Дядя Савелий, уже не помню, по какой причине, не был членом нашей кузнечной артели, но охотно выполнял ее заказы, и когда это происходило, я имел «законную» возможность подолгу пребывать в колесне. Часами мог я смотреть, как возникает колесо: как вытачивают матицу колесную — ступицу, как долбят в ней гнезда для спиц, как перят ее, то есть вставляют в эти самые гнезда спицы, и как натягивают на них обод — в натягивании обода я нередко принимал участие, орудия натягом или ободным крюком, в чем имел уже некоторые навыки, поскольку и в кузне тоже была почти такая же деревянная круглая лава, на которой при помощи почти таких же инструментов кузнецы шиновали колеса. Впрочем, таких добровольных помощников, как я, у дяди Савелия было немало — мальчишки со всей округи тянулись к нему: одни из душевного интереса, а другие, как я теперь понимаю, и из вполне материального, потому что колесник непременно одаривал каждого из нас каким-нибудь своим изделием: одному прекрасного коня — гривастая гордая голова насажена на крепкую палку — до Москвы на таком скачи, выдюжит; другому шашки на токарном станке выточит, а третьему бирюльки или кубарик и тут же покажет, как надо его нахлестывать кнутиком, чтобы он не только вращался, но и бегал по полу, мне он сделал биты и чурки для городков, а однажды выточил скалку и сказал: «Отнеси матери». «Красивая, — похвалил я, — маме будет легко раскатывать такой скалкой тесто». «Бить тебя будет легко». «А мама нас никогда не бьет», — сказал я. «Вот и спасибочко ей от меня. Не люблю я, когда детишек бьют». Дядя Савелий, как мало кто из взрослых, понимал и наши мальчишеские нужды, и наши мальчишеские завихрения, и когда я вознамерился построить летающую модель планера — в ту пору многие джанкойские мальчишки увлекались авиамоделизмом, — то побежал, конечно, к дяде Савелию, хотя как раз в тот год почти полностью отошел и от кузни, и от колесни и стал что ни на есть самым настоящим «книжным червем». («Зачитанном») я был настолько, что временами полностью терял интерес к тому, что не в книгах, и в том числе и к дяде Савелию, да простится мне это!.. Бессистемное и, надо полагать, бесполезное чтение погружало меня с головой не в свет, как мне казалось, а в непроницаемый туман, отчего я быстро и неуклонно дурел. Кто знает, чем

бы это все кончилось, если бы не вспыхнула страсть к авиамоделизму. Правда, длилась она очень недолго, но все же выручила.)

Дядя Савелий тут же освободил для меня место на верстаке, дал мне материал и инструменты, но в работу вмешиваться не стал («Не по моей части», — сказал он) и только разок показал, как держать пилу. Наверное, я был самым бездарным авиамоделистом на свете: моя модель могла стоять, могла лежать, могла падать, но летать не могла, не желала. Я ее вверх, я изо всех сил забрасываю ее вверх, в небо, а она тут же носом вниз и на землю. Не обладая талантом, я, разумеется, не обладал и его неперменной спутницей — терпением: пять неудачных запусков (на пять у меня хватило самолюбия, но это не терпение, это штука сортом пониже, и на ней, как говорится, далеко не уедешь и высоко не взлетишь), и одиннадцатилетний парубок, пионер, я заплакал, как дошкольник. Дядя Савелий слез мне утирать не стал, а только деловито посоветовал хорошенько высморкаться и, когда у него немного пришел в себя, сказал: «Птичку свою, если хочешь, конечно, оставь тут до утра. Может, за ночь она поузмнеет и полетит. А может, мы с тобою умнее станем».

Само собой разумеется, что не поузмнеет я в ту ночь. Ничуть. Но модель утром полетела. Внешне она как будто не изменилась, или я не сумел разглядеть, что с ней произошло. Не мог же поверить я в то, что поузмнела сама модель. Так что же с ней все-таки приключилось, раз она вдруг полетела? Значит, это дядя Савелий что-то сделал с ней, значит, у него какой-то секрет. И я пристал к колеснику: «Откройтесь, ну что вам стоит, откройтесь. Может, вы что-то такое особенное делаете с деревом... А может...». «Дерево есть дерево, — уклончиво ответил дядя Савелий. — А дерево ни живое, ни вот такое, как известно, не летает». «Чтобы полететь, ему крылья нужны», — сказал я, а дядя Савелий сказал: «Душа ему нужна, чтобы полететь. Но ты пионер, и вам, понятно, говорят, что души не существует». Я, конечно, не знал, существует или не существует душа, этого, как поют нынешние дети, мы не проходили, но вот насчет бога уже знал точно. «Бога нет и быть не может», — категорически заявила наша вожатая.

— И у нас была такая пионервожатая, — сказал Шура. — И у нас в районе был свой дядя Савелий. Но мне бы сейчас адресок такого дяди. Мне бы сегодня...

Понимаю, конечно, что этот мой разговор с Шурой может вам показаться наивным, а рассказ о дяде Савелии пригнутым за уши для доказательства того, что и так всем известно. Только вот всем ли? В этом-то и сомневаюсь, что всем... Так ли точно, достоверно и неопровержимо знают все, как и почему рождаются крылатые, летающие слова и строки? Что касается меня, то каюсь и признаюсь — не знаю, не ведаю, до сих пор не знаю... Знаю только вот это — единственное, чем пока могу похвалиться, — знаю, чем отличается «Слово-птица» от «Слова-камня». И еще знаю, что это невеселое занятие — умножать количество камней на и без того каменистой земле.

ЧТО СТОРОЖАТ НОЧНЫЕ СТОРОЖА. Молодой русоволосый ленинградец, с загоревшим до негритянской черноты лицом, рассказывает о недавней археологической экспедиции в районе древнего города Бухара. Ленинградский археолог только вчера прилетел в Тбилиси, у него, как он сказал, «горит» уже набранная статья и ему необходимо срочно уточнить кое-что с грузинскими коллегами, а также со «смежниками» из Института востоковедения. Приняли его тбилисские востоковеды прекрасно, обещали быстро подобрать нужные материалы, а пока что посоветовали проконсультироваться у «забюджетнейшего» сотрудника института Цыбулевского.

Консультация длилась всего несколько минут, и гость потянулся к шляпе. Но хозяин шляпу удержал, хозяин задал гостю вопрос, потребовавший обстоятельного ответа, и регламент, установленный самим гостем: «я к вам, если разрешите, на пять минут, не больше», сразу же был нарушен, поскольку выяснилось, что бухарская экспедиция, в которой участвовал ленинградец, прошла тем же самым маршрутом, что и экспедиция академика Церетели... Уже покойного Георгия Церетели... А ведь это совсем недавно было... И Высокий Спутник (так в Шуриной повести «Шарк-шарк» почтительно назван Георгий Церетели) еще казался совершенно здоровым и фантастически неутомимым. И Шура тоже чувствовал тогда себя здоровым и неутомимым. И, конечно, не представлял себе, что можно болеть, вот так, как сейчас... Такое Шура тогда и в голову не могло прийти. Ну как он мог подумать тогда, чтобы сердце... Тогда он его просто-напросто не замечал, не чувствовал.

...«Ведь это совсем недавно было», — сказал ленинградцу Шура, сказал с грустным удивлением, должно быть, поразился он вдруг необозримости, не-объятности этого НЕДАВНО. И гость смутился: может, он что-то не так сказа-зал. Но ведь ничего плохого... Ни слова плохого, ни намека. Так почему же хозяин вдруг умолк, почему нахмурился. «Извините», — сказал гость.

— Это вы меня извините, — сказал Шура и улыбнулся. Другой бы рас-сердился на непонятливого собеседника, другой бы, но не Шура. — Это вы ме-ня извините, задумался я, — сказал Шура и не мог он этого не сказать, не мог не улыбнуться и уж, конечно, не мог рассердиться на двадцатипятилетне-го здорового человека, что тот не так, как сорокасемилетний больной Цыбу-левский, чувствует и понимает время. «Да и то учтите, что он археолог, — сказал бы, определено сказал бы Шура. — А у археологов свое восприя-тие и свой отсчет времени — они его веками и тысячелетиями отсчитывают».

— Вы просили меня рассказать о нашем общем друге, — осторожно на-помнил ленинградец.

— Да, да, продолжайте, ради бога.

Общий друг... У ленинградца и у Шуры оказалось много друзей на той далекой древней узбекской земле. (Я раньше недоумевал, когда говорили: «На-ша древняя земля». «Все земли на земле древние, даже если они разного воз-раста, все равно древние», — утверждал я, пока не прочитал в газете, что в океане буквально за несколько дней возник новый остров, и вот вам, пожалуй-ста, молодая земля, новорожденная, в наше с вами время рожденная земля. Ну а раз есть молодые, новорожденные земли, значит, есть и старые, и даже очень старые, очень древние. Значит, есть.) И совсем не удивительно, что их так много, общих друзей — ведь маршрут у тбилисцев и ленинградцев был почти одинаковый. Ну а когда человек — друг твоих друзей, это уж как-то само собой сближает тебя с ним. А для тбилисца это, можно сказать, священная формула — даже самый неожиданный, несвоевременный гость, ес-ли только он «друг моего друга», — уже вдвойне дорогой гость. И я по-радовался тому, как оживился с приходом ленинградского гостя измученный недугами Шура — и глаза его повеселели, и дышать он стал ровнее. «Ах, как хорошо, как отраднo дышится на вольном ветру экспедиций», — ска-зал мне однажды Шура, и цвет его лица как-то сразу стал меняться: ком-натная, больничная матовость и бледность стала отступать перед жарким цветом молодой бронзы. Цветом экспедиций. И голос Шурина помолодел — глухой, обесцветенный от долгого пребывания в глухом и темном, куда его загнала боль, он словно вырвался на свет божий, на вольный ветер и тоже побронзовел.

— А Мирзакан здоров? А Камал? И Амина видели? А он как? — с тревогой, с понятной мне, вполне объяснимой тревогой, спрашивает Шура — ведь столько плохого, страшного случилось за это краткое как будто бы НЕДАВНО, — но гость успокаивает Шуру: все их общие друзья, слава богу, живы, все здоровы и все по-прежнему добры, гостеприимны, дружелюбны.

— Прекрасные новости! Чудесные новости! — говорит Шура и в знак благодарности слегка прикасается мизинцем к руке Доброго вестника.

Шуре нравится гость, и мне он тоже нравится. «Доброжелательный господин», — обычно говорит Шура о таких людях. Да, очень доброжела-тельный, и к тому же он пришел в дом с такими добрыми вестями. А добрый вестник вторично дорогой гость. И Шура предложил ленинградцу то, что ни-когда не решился бы предложить (Шура сказал бы — навязать) мало зна-комому или, точнее, неясному еще человеку.

— Позвольте мне подарить вам свои книжицы.

...Не знаю, не видел, что написал Шура на подаренных ленинградцу книгах. Знаю только, что на книге «Владелец шарманки» что-то, должно быть, сложное и многострочное, потому что писал долго, с паузами на обдумывание, а на книге «Что сторожат ночные сторожа», по-моему, лишь расписался. И все это молча — вся церемония дарения прошла в полном молчании: молчал дарящий, молчал одариваемый, и я, разумеется, молчал. Зная Шуру, я дога-дывался, почему он молчит, — его определено мучает мысль о том, как мал и незначителен его подарок по сравнению с достоинствами и заслугами гостя. Ну а молчание ленинградца объясняется, как я думаю, совсем про-сто: хорошо воспитанный гость в таких обстоятельствах никогда не прервет молчание хозяина.

— Лычу себя надеждой, — сказал Шура, вручая гостю подарок. Фра-за, конечно, старомодная, и встретишь ее теперь только в старых книгах, и все-таки она показалась мне вполне уместной: хорошо она прозвучала, с достоинством произнес ее Шура.



— Красивые книги, — сказал гость. А что другое он мог сказать о книгах, которые еще не читал. — И названия привлекательные.

На автографы гость даже не взглянул — не принято, значит, — чем вовсе не восхитил меня, поскольку я, чего уж тут скрывать, сторал от любопытства. «Воспитанность воспитанностью, — рассердился я на ленинградца, — но нельзя же все время держать самого себя на коротком поводке».

— Загадочные названия, — сказал я.

— Ну так уж и загадочные, — возразил Шура.

— А в книге есть стихи о них? — спросил у Шуры ленинградец.

— Это о ком?

— О ночных сторожах.

— А-а! Есть, конечно. Одно. На тридцать седьмой странице.

Я люблю это стихотворение Александра Цыбулевского. И знаю его на память, хотя еще в школе немало настрадался от неспособности заучивать стихи. А это легко запомнилось, само собой, с первого прочтения. Я даже записать могу его по памяти и ручаюсь, что без ошибки запишу. Вот, пожалуйста:

Так поздней ночью мы проходим мимо
 Тех сторожей, что у огня дрожат.
 Охваченные бликами и дымом,
 Что сторожат ночные сторожа?

Чем сторожей укрыть от похищений?
 Костер в ведерке догорит дотла.
 Разрушит утро эти светотени,
 И к пеплу ночи тянется метла.

Правда замечательное стихотворение? И потому я буквально ошетинился, когда гость вдруг прочитал его вслух. «А как же насчет деликатности, дорогой товарищ?», — раздраженно подумал я. Раздраженно и, наверное, несправедливо, наверное, он неплохо его прочитал, а может быть, и очень хорошо. Не оспариваю, а только говорю, что мне неприятно, крайне неприятно любое, в том числе профессионально-актерское, вторжение в полюбившиеся мне стихи. Стихи, которые мне нравятся, я предпочитаю читать сам, про себя, своими глазами.

— Прекрасно, — сказал гость. — И за душу берет, и подумать есть над чем. Но вы меня простите, может, я огорчу вас, тут, по-моему, ошибка. Хотя нет — может, и не тут, может, как раз на обложке... Тут у вас в тексте после слов «что сторожат ночные сторожа» — знак вопроса, а на обложке его почему-то нет.

— Смотри-ка, заметили все-таки. А ведь редко кто замечает.

— Поверьте, я не нарочно, — стал оправдываться гость. — Я несколько не искал, просто бросилось в глаза, так что простите. И вообще — я же не знаю, может, это и не ошибка вовсе.

— Ошибка и не ошибка, — сказал Шура.

— Понимаю, понимаю, художнику, вероятно, показалось, будто он знает... Будто он знает, что сторожат ночные сторожа.


Шура поморщился: суд свой молодой, хорошо воспитанный гость вершил явно несправедливо...

— Почему же показалось, — возразил Шура. — Художник, думаю, знает. Потому он и художник, что знает.

Будь я на месте ленинградца, я тут же бы спросил Шуру: «А вы? Почему вы поставили вопросительный знак? Неужели вы не знаете?».

Признаюсь, мне уже давно хотелось задать Шуру подобные вопросы. Сначала такие, а вслед за ними уже самый, с моей точки зрения, интересный: «А что же все-таки, по-вашему, сторожат ваши ночные сторожа, Шура?». Интересные вопросы. И притом без какой-либо подковырки. Честные вопросы. И тем не менее я так и не решился, ни разу не решился задать их Шуру. По той причине не решился, что есть же у автора право что-то недосказать, что-то недорисовать, да и просто помолчать о том, о чем говорить почему-то не хочется. А что — законное право! Вот и надо его уважать. И у ленинградца тоже, думаю, возникли точно такие, как и у меня, вопросы, но он, так же как и я, не решился задать их Шуру. По той же, думаю, причине, что и я, не решился.

— Удивительно много информации в этом небольшом стихотворении, — сказал ленинградец. — Вы меня простите, может, о поэзии так не принято говорить... Но поверьте, я вовсе не хочу принизить этим поэтические достоин-



ства вашего стихотворения, я лишь хочу сказать, как много нового, для меня нового узнал я из него. Вот именно — узнал... Ночные сторожа, пожалуй, и не думал никогда о них. А теперь знаю... Знаю — как трудна их работа, как дрожат они холодной ночью у жалкого костерка... И этот костерок в ведре... Это тоже для меня совсем новое... И знаете, у меня такое впечатление, будто вам самому довелось жить такой бессонной и тревожной ночной жизнью.

— Не довелось, — сказал Шура. — Меня сторожили, от меня сторожили... А сам я пока еще...

Мне не понравилось, как Шура это сказал — он сразу помрачнел и вот даже фразу не закончил. И похоже, — я ведь знаю Шуру, — что ему уже немоготу продолжать разговор. Значит, вспомнилось, значит, нахлынуло, а душа смертельно устала от всего этого — от воспоминаний, ледящих и без того хладающую кровь, от навязчивых сновидений, вроде того, что долго, почти месяц мучило Шуру (он как-то рассказал мне о нем) — переходя без каких-либо вариаций, без малейших изменений из ночи в ночь: в окошке все квадратика («Хоть бы квадратика превратились в прямоугольники или, скажем, в ромбики, — сказал мне Шура, — а то ведь нет, все квадратика и квадратика, аккуратные, точные квадратика») — так вот, все квадратика в том окне были непроницаемы и для света, и для звуков, и для запахов, и только сквозь один квадратик просачивались тонкой струйкой свет и еще более тонкой струйкой — запахи. Свет и запахи из того нереального мира, как казалось спящему, а когда-то и не спящему Шуру. Реальность — она здесь, в сыром, почти могильном полумраке, а нереальность — придумка тоскующей души — там, за окошком. И сколько ни щипай себя — пробуждения не будет, и местами они — реальность и нереальность — все равно не поменяются. Тонкий хрупкий лучик света — он даже не соломинка, за него не ухватиться, зато невидимый лучик запахов — запахов хлеба, женщин, вина... Сумасводящие запахи (это уж из «Левкиной истории» слова — «сумасводящий запах». Из грустной и жизнеутверждающей «Левкиной истории», о которой потом, увы, потом, умный и честный критик напишет, что это современная сказка о любви, пронизанная тонким чувством и мягкой улыбкой). Сумасводящий, сумасводящий... Сумасводящий сон... И есть, как сказал мне тогда Шура, только два верных способа от него отвязаться, избавиться — либо действительно сойти с ума, либо заснуть так крепко, так непробудно, чтобы уже никаких воспоминаний, никаких сновидений.

Надо, немедленно надо отвлечь Шуру от подобных воспоминаний. Сейчас они для его сердца смертельный яд. Но чем и как отвлечь? Рассказать что-нибудь забавное. А вот что? Ну а поскольку говорили мы до этого о ночных сторожах, то произошла своеобразная ценная реакция — сторожа так сторожа.

— А я, представьте себе, был однажды ночным сторожем, — сказал я. — И знаете, кого я сторожил? Я главного ночного сторожа сторожил. Самого главного.

Господи, как прихотливы законы нашей памяти — лет тридцать об этом не вспоминал, а тут вспомнилось. Весна 1919 года вспомнилась... Мне шесть лет, я «кандидат в чахоточные» и еду в степную, присивашскую деревню лечиться парным молоком и соленым морским воздухом. Это мне бабушка все объяснила... Про чахотку, парное молоко и целебные ветры родного ей Азовского моря. Жить в деревне я буду у бабушкиной лучшей подруги, тамошней учительницы тети Зои, а везет меня на своей пароконной бричке сосед и родственник тети Зои, старый уже и хворый дед Андрей. Дед приезжал в Джанкой на воскресный базар и по просьбе тети Зои прихватил меня с собой. Выехали мы из города поздновато, уже после обеда — без обеда бабушка ни за что не соглашалась нас отпустить, — и так и не сумели доехать засветло до постоянного двора, где собирались переночевать. Ночь, правда, выдалась светлая, лунная, но кто же в тогдашнее лихолетье ездил по ночам. Мы свернули с дороги на целину, затем спустились в глубокую балку и там заночевали. Спать в бричке нам вдвоем было тесновато, но зато мягко и тепло — снизу солома, сверху овчинный тулуп.

— Спи, — сказал дед Андрей, а мог и не говорить этого, я и так сразу заснул — очень уж меня сморили и сборы, и проводы, и быстрая езда, и степной воздух, конечно. Проснулся я в неясной тревоге. И вовремя, очень вовремя проснулся — огромный какой-то Страшила заграбастал огромными лапщами луну и уже больше чем наполовину упрятал ее в огромную торбу (в степи стало почти темно, от этого я и проснулся, наверное, что внезапно потемнело) — такая точно торба, но, конечно, гораздо меньшего размера, была перекинута через плечо старого нищего, который каждый день требовательно стучал палкой в нашу дверь.

Ох, проклятый Страшила, — я хотел выкрикнуть ему все оборонные слова, которые знал (разные у джанкойских мальчишек были оборонные слова, разные, для всех случаев — от чертей, от домовых, от бабы Яги, от кровососов, от людоедов и прочих Страшил, среди которых почему-то числились и какие-то зловредные «Неприкаянные Души» каких-то нехристей-безбожников, которые разбойничали в наших местах чуть не тысячу лет тому назад. Скажешь такое оборонное слово Страшילה, и он от тебя как ошпаренный, а то и вовсе сгинет), а знал я их еще с прошлого года множество, но страх стиснул мне горло, я только слабо пискнул и отчаянно замахал руками. Может, Страшила и не испугался, но он замешкался, и луна, воспользовавшись этим, выскользнула из его лап и побежала. Луна от Страшил побежала, а Страшила, помедлив немного, — от нее. В разные стороны они побежали. А я решил не спать — вдруг Страшила вернется. Да и не один он такой разбойник и воруга в ночном небе — вот и еще какой-то косматый, похожий одновременно на страшного зверя и на страшную птицу, подкрадывается к луне. И не удивительно — она такая красивая, она так и соблазняет себя украсть. Но я не дам, я не позволю! Короче говоря, я так размахался руками, отгоняя от красавицы луны ночных разбойников, что разбудил деда Андрея. «Чего тебе? — спросил дед. — Если по малой, то дуй прямо с брички. Тут это можно, тут же степь, пописаи себе на здоровье и опять спи...» Я даже обиделся: ну и человек этот дед Андрей, я тут луну сторожу, а он... А дед Андрей, выслушав мои сбивчивые объяснения, совсем уже обидно рассмеялся: «Надо же! Придумал! Да это он нас сторожит, понял, он — месья! Он тут в степи сейчас главный сторож. Мы себе спим, а он нас караулит... Чтобы бандюки на нас не напали, чтобы коней наших не увели, чтобы дурной пулей нас не прикончили... А ты, козявка, его сторожить собрался... Ох-хо-хо, тоже мне сторож!».

У меня была ясная задача — своими легкомысленными, в общем, воспоминаниями отвлечь, во что бы то ни стало отвлечь большого друга от его собственных мучительных и мрачных. И я сделал это, не скупясь, с ненужными даже подробностями, но, увы, мой рассказ не произвел, по-моему, желательного впечатления ни на Шуру, ни на ленинградца. Ленинградец, как положено, вежливо улыбунулся, а Шура и того не сделал.

— Вот видите, вы уже были ночным сторожем, — сказал Шура, — а я только собираюсь. Вступлю в какую-нибудь инвалидную артель сторожей.

— Не надо так шутить, Шура, — попросил я.

— Какие ж это шутки. Правда, я не уверен, что еще существуют в Тбилиси такие артели.

— Вряд ли, — сказал я.

— Я тоже думаю, что вряд ли.

— Теперь повсеместно электрические сторожа. Электросигнализация.

— Знаю, — сказал Шура. — И на нашей улице они часто трезвонят. Иногда днем, но чаще по ночам. Я поинтересовался как-то — оказывается, это их, электрических, так на бдительность тренируют. Чтобы они взломщиков не проспали, не прозевали.

— Не проспят, не прозевают, — сказал ленинградец. — Вы меня простите, но я не очень понимаю... По-моему, это хорошо, что старикам и инвалидам не надо теперь дрожать от холода, мокнуть под дождем. По-моему, радоваться за них надо.

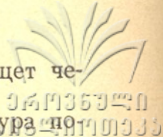
— А я радуюсь, — сказал Шура. — Лично я рад, уверяю вас. А вот ночные тбилисские улицы, я думаю, грустят без ночных сторожей. Поскущели без них наши ночные улицы, правду говорю, поскущели — ведь если подумать, так это же душу у них отняли, живую душу. Скажете, что я преувеличиваю...

— Немного есть, — рассмеялся гость. — Немного, по-моему, преувеличиваете, но вам, Александр Семенович, позволительно, вы, можно сказать, певец ночных сторожей. Вы так их воспели.

— Ну вот еще... какой я певец и что значит воспел?! Мой стих о ночных сторожах — это, уверяю вас, только беглые впечатления. Не больше. А вот Нодар Думбадзе, тот действительно воспел ночного сторожа. Его дядя Артаваз — чудо.

— Герой рассказа? — спросил гость.

— Романа. Романа «Солнечная ночь». Очень советую прочитать — достойная книга. А сцена с ночным сторожем — одна из лучших в ней. Я даже завидую иногда герою романа Темо, которому в отчаянную минуту встретился такой человек, как дядя Артаваз. Кстати, за завтраком в хашной дядя Артаваз очень хорошо объясняет Темо и всем нам, для чего главным образом существуют ночные сторожа и почему они нужны людям. И все это в коротеньком тосте перед глотком вина. Всего несколько слов, которые легко запомнить. Вот



слушайте: «Это, дорогой Темо, за человека, который ночью ходит, ищет человека. За человека, который коротает ночь в ожидании человека!».

— А он мудрец, ваш дядя Артаваз, — сказал ленинградец. И Шура до светлеет лицом, словно это его самого сейчас так высоко оценил гость. И тут же, по обыкновению своему, щедро отдарил гостя — рассказом о Варпете и ночью стороже отдарил. Замечательный, по моему пониманию, подарок. Мне довелось много раз слышать эту полубыль-полулегенду — и в Ереване мне ее рассказывали, и в Москве, и в Тбилиси. Разные люди рассказывали, но лучше Шуры никто. Даже знаменитый артист, у которого этот рассказ считался «коронным номером». И не в мастерстве тут, конечно, дело — Шура мастерством устного рассказа похвалиться не мог, для рассказа ему, писателю, нужна была бумага, нужны были читатели, а не слушатели, но этот рассказ... Сказывалось, по-моему, и Шурино отношение к его героям: поэзией и личностью Аветика Исаакяна, прозванного в народе Мастером, Мастером с большой буквы, а по-армянски Варпетом, Шура неизменно восхищался, а о любви его к ночным сторожам вы уже знаете. Сказывалось, разумеется, что и сам Шура — поэт. Вот потому и не решаюсь я воспроизвести рассказ этот Шуриными словами — помню их, а все же не решаюсь. Боюсь, что даже одно не так сказанное слово разрушит созданное поэтом. И тем более я не осмелился бы на пересказ, знаю, что поэзия не терпит пересказа, знаю, да что поделаешь, раз уж я обещал читателю, раз поманил его, то обязан хотя бы скудной прозой, в меру своих способностей — а кто на большее способен! — изложить это давнее, теперь уже очень давнее ночное происшествие, начавшееся побегом Варпета из дому. Да, самым доподлинным побегом. Тайным. Потому что открыто, не таясь уйти ему не удалось бы — лекари установили для старого больного поэта строгий режим, и домашние старались, чтобы он неукоснительно соблюдался. А поэт устал от режима, устал от доброй опеки близких и удрал, тайком удрал... Хотя часок, да воля вольная... Жаль только, что улица так безлюдна — Варпет любит ходить по ней не так вот, в одиночестве, а в потоке ереванцев, взглядываясь в их лица, вслушиваясь в их говор, но уже поздний час, да и ночь выдалась ненастная: то и дело налетает пронизывающий ледяной ветер и сверху что-то падает — не то дождь, не то снег. Но вот все-таки появился прохожий, нет, еще даже не появился, его еще не видно, он еще за углом, его пока только слышно — прохожий поет, громко, по-уличному, поет, должно быть, возвращается навеселе с дружеской пирушки. Но, оказывается, что это не гуляка вовсе за углом — у дверей «Гастронома» сидит на ящике ночной сторож, в мохнатой чабанской папахе, в накиннутом поверх длиннополой шинели брезентовом пыльнике — венцираде. На коленях у сторожа «тулка», и руки его лежат на ружье — правая на прикладе, левая у самого ствола — одним словом, оружие взято на изготовку и готово к бою, а это никак не вяжется с песней, которую поет сторож, потому что песня не про войну и не про охоту — она о любви. Варпет сразу узнал ее, хотя никогда не встречал в таком виде. Когда-то юный, влюбленный Аветик сложил эти стихотворение. Он дорожил им, оно было из тех его созданий, которые он всю жизнь держал при себе, и потому он невесело удивился, когда, уже будучи прославленным Варпетом, впервые встретился с ним на сцене — оно, несомненно оно, а все же чем-то уже незнакомо — в столичном концертном зале. Когда ж это оно ускользнуло от него — избалованное дитя первой любви? Он, можно сказать, глаз с него не спускал, а оно все же ускользнуло. И вот превратилось в песню, в хорошую, надо полагать, песню, раз публике она так понравилась, раз публика так долго, так шумно аплодирует. И Варпет тогда тоже, заодно с другими, хлопал в ладоши, в знак благодарности композитору, который оказал такую высокую честь его простому, бесхитростному стихотворению, положив его на такую строгую, классически строгую музыку. Ее в другом месте и не споешь — только вот в этом торжественно-строгом концертном зале, только у этого торжественно-строгаго рояля, и только в таком торжественно-строгом фраке... Черный рояль, черный фрак и ослепительно белая манишка... Но этот, в косматой чабанской папахе и венцираде, поет среди пустынной холодной улицы совсем другую песню — слова те же, его, исаакяновские, родные слова, а мелодия иная, ничуть не похожая на ту, что он слышал когда-то в концерте, ничуть. Впервые слышит Варпет эту песню. И даже не знал он, что есть такая. А ведь чудная песня. Прекрасная песня.

Дослушав песню, Варпет подошел к сторожу, а тот как раз с костерком возился — подложил щепок и, пригнувшись к ведру, раздувал пламя. «Здравствуйте», — сказал Варпет. Сторож вскинул голову, но, увидев, что перед ним такой же старик, как он сам, — а такие старцы грабежами не занимаются, — успокоился и снова пригнулся к огню. «Холодно», — сказал Варпет. «Холодно», — подтвердил сторож. — Собачья погода. И чего в такую погоду людям дома не сидится. Не понимаю». «Бывает, что не сидится, — сказал Варпет. —

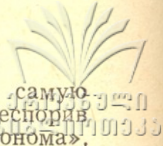
Бывает, что на улицу, к людям потянет человека». «А где же сейчас на улице такой холод люди, — сказал сторож. — Люди, которые с деньгами, сейчас в ресторанах сидят. И ты давай иди в ресторан, если тебе дома скучно. Видать, ты не из бедных, не разоришься на этом». «Не разорюсь, — сказал Варпет. — Но только не люблю я ресторанный веселья». Оказалось, что сторож тоже не любит ресторанов — повеселиться он, правда, не прочь, но зато решительно против ресторанных наценок. С какой стати за все переплачивать, за все втридорога, когда и так можно. «А можно?» — спросил Варпет. «А почему же нельзя? Ваши деньги — наш коньяк, — сказал сторож и извлек из-под ящика, на котором сидел, бутылку. — Вот, трехзвездный. И не беспокойся, по своей цене уступлю, по магазинной». «А пробочник найдется?» — «Найдется». — «А стаканы?» — «Один тебе?» — «Что значит один — два». «Спасибо, не откажусь», — сказал сторож. И достал из-под ящика, все из-под того же ящика, два стаканчика и завернутую в бумагу чурчхелу... чурчхелу он тут же разломил на две равные части. «Угощайся, она мягкая, — сказал он Варпету, — как раз по нашим зубам».

Сделали по глотку, затем по другому, пожевали молча и не спеша сладкую чурчхелу, поговорили не торопясь о том о сем, прежде чем Варпет спросил: «Ты вот тут песню пел... Чья она, не знаешь?». «Что значит—чья?» — удивился сторож. «Кто-то же ее сочинил. Вот я и спрашиваю, кто?..» — «А что значит—кто? Песни, брат, не сочиняют, песни складывают». — «Вот я спрашиваю, кто ее сложил?» — «Люди, конечно, народ». — «Так не весь же народ. Кто-то, наверное, музыку сложил, а кто-то стихи». — «Ну, ты скажешь. Это же песня, а не стихи. Стихи — это, брат, в книгах, а книги у нас Варпет пишет». — «Ну не один Варпет и другие пишут. А эта песня, вернее, слова ее — они и в книгах есть». — «Так я тебе и поверил». — «Можешь верить?». «Ну, может быть. Всякое ведь бывает, — чуть-чуть уступил сторож. — Может, ты и видел такую. А мне что-то не попадались поющие книги». Варпет рассмеялся, а сторож сказал: «Смеешься. Ну то-то же! И давай-ка я тебе долю». Сделали еще по глотку, еще по кусочку чурчхелы съели, и Варпет спросил: «А от кого ж ты все таки услышал эту песню, где ты ее взял?». «Вот уж не помню. Может, от покойной жены — она, бывало, если приласкаешь ее вечером, всегда по утрам веселая была, всегда пела. А может, от Армена. Друг у меня такой есть. Веселый человек. И петь любит. Когда, конечно, хорошо выпьет, а так не проси. Он из-за этого и в театр не поступил. Ему золотые горы в театре обещали, так и его пенье понравилось, а он, хоть и бедный, отказался. Там, оказывается, петь нельзя тем, кто поет. Знаешь, наверное, про такое». «Знаю», — сказал Варпет...

Не ведаю, как ленинградец, а я, слушая Шуру, живо представил себе всю эту сцену и, можно сказать, воочию увидел, как на ящике из-под консервов рядком, плечом к плечу сидят два старика, два давно живущих на свете ереванца. Я даже слышу, как они говорят, и даже понимаю, о чем они говорят, хотя и не знаю армянского. Но раз я понимаю, значит, они говорят о чем-то понятном всем людям, значит, они о жизни человеческой говорят, о своей и о нашей с вами жизни. И конечно, я хорошо вижу их лица — ночь этому не помеха, на ереванских улицах и ночью светло, — их стариковские лица: лицо ночного сторожа я представил себе так же легко, как и лицо старого поэта, хотя сторожа с роду в глаза не видел и только сейчас, сам для себя его лицо придумал, вообразил. Ну а лицо Мастера мне, разумеется, знакомо, и не только по портретам знакомо — весной 1941 года, в самый канун войны, я видел Варпета в Москве, в Доме литераторов на вечере армянской поэзии. Случалось мне видеть его и после войны, в Ереване, а однажды я был гостем Мастера и провел несколько счастливых часов в его доме.

...Сидят два старых человека у магазина «Гастроном», греют озябшие, натруженные руки над костерком в ведре, и их лица... Вот тут моя любимая поэтесса непременно написала бы «их прекрасные лица» и была бы права, потому что ей, поэтессе, ей, прекрасной женщине, видней... А я не поэт и потому говорю: старые лица, старческие лица, стариковские... И это тоже правда: они такие же старые, как лица ваших дорогих дедов, мои молодые читатели, они такие же, как мое и твое лицо, мой дорогой сверстник...

Знаю, что некоторым поклонникам Варпета, которые вполне искренне считают, что он «небожитель», что он «не от мира сего», может показаться, что я как-то принижая, приземляю большого поэта. Но у меня и в мыслях этого нет, чтобы принизить. И приземляя я ничего не собираюсь — зачем же мне приземлять то, что и без того — земное. По-настоящему земное. И тем только и возвышено, смею вас заверить, что земное. Убежден, что эта ночная встреча со своим любимым стихотворением, этот разговор с ночным сторожем — если только все это не плод чьей-то доброй фантазии — породили в ду-



ще старого поэта самые возвышенные мысли и чувства, самую возвышенную радость. И я себе представляю, как, не переставая упрямого сторожа (сторож остался на своем посту у «Гастронома», убежденный, что песню никак не может сложить один человек, что она возникает сама собой, в народе), Варпет возвращается домой. Он идет по безлюдной улице медленно, иногда даже останавливаясь, и некоторое время стоит неподвижно — он думает. О чем? Не знаю — не дано мне, непоэту, знать, о чем мог думать в такие минуты великий поэт. Но зато я знаю, что он был в ту ночь счастлив. Счастлив, как любой человек — поэт или непоэт, все равно, — которому в хороший, добрый час, в нужный час вдруг вот так, как Варпету, открылось, что живет он не напрасно, что сделанное им — пусть не все, пусть только самая малость, пусть только самое лучшее, пусть только вот эта песня, только она одна, пусть — останется среди людей, останется на земле. Надолго останется. (Я написал надолго, вовсе не желая умалить этим величие Варпета. Да и как его можно умалить! Просто я давно уже не говорю навсегда, даже в сочетании с таким словом, как ушел, не говорю, а тем более в сочетании со словом останется. Потому не говорю, что никто мне, обыкновенному смертному, не дал права назначать одних в смертные, а других в бессмертные — а ведь останется навсегда это абсолютное бессмертие, — и еще не говорю потому, что просто-напросто не знаю, что такое навсегда — во всех смыслах и сочетаниях — и даже вообразить его себе не могу. Не хватает фантазии).

«Остаюсь на земле» — удивительные эти слова я прочитал недавно на могильном камне, под которым покоится погибший несколько лет назад в воздушной катастрофе юный авиатор... Над кладбищем то и дело низко-низко пролетали самолеты — неподалеку от него Тбилисский аэропорт, — а я на этот раз даже не слышал, как они грохочут, потому что в ушах моих звучали только эти слова: «Остаюсь на земле». Не знаю, не знаю, кому они принадлежат, да и так ли это нужно знать... Во всяком случае, сказал их или написал мудрец, настоящий мудрец, человек, очень хорошо знающий, что такое жизнь и смерть человека. Великая правда в этих словах, потому что и этот безвестный в общем юный авиатор, и прославленный на весь мир космонавт Комаров, и Варпет — поэт, «небожитель», «человек не от мира сего», и Галактион — орел, сложивший крылья для последнего полета — с небес на землю, — и множество других, прославленных и безвестных, остались на земле, ибо она — мать. Сказано как-то, человеком сказано, не богом: «Все из ее чрева вышли, и все в ее чрево вернуться». И возвращаются. Даже если гибнут в воздухе, в космосе — душа возвращается на землю. Иной участи человек не может желать, если он человек. А поэт всегда человек, если он настоящий поэт, и его поэзия, если она настоящая поэзия, обязательно остается на земле, потому что она рождена ею — ей и детям ее принадлежит.

*** — Допустим, я знаю, что сторожат ночные сторожа, и расскажу вам... А вы перестанете считать меня поэтом. Человек, вообразивший, что он все знает и проник во все тайны, — уже не поэт. А я, по крайней мере, хочу им быть.

ВАМ И КАРТЫ В РУКИ. (Это отрывок из повести «Шарк-шарк», точнее, это часть иронического диалога с неким будто бы реальным — «ущипнул его — под халатом — явно плоть» — типом, но, скорее, все же нереальным и бесплотным, ибо как же может быть реальным тип, всерьез уверяющий, что он явился к вам, именно к вам, из будущего). «...Нас интересует, скорее всего, поэтическое воспроизведение увиденного — не столько, так сказать, подлинность — сколько доподлинность, что ли, — то есть то, что придумать нельзя, — ну, вы в этом прекрасно сами ориентируетесь — вы поэт, вам и карты в руки.

— Какой я поэт!

— Не скажите, могу вам открыть по секрету, что после неизбежной, как вы понимаете, смерти — все мы смертны — стихи ваши получили признание и еще долго имели определенное хождение у любителей, не помню уже точно, что в них такое находили... кажется, крутизну и соответствие высоты голоса с чем-то, что редко. Да и проза ваша нравилась — этикие руины, развалины несостоявшихся стихотворений».

СОЛДАТСКАЯ ЛЕГЕНДА О СОЛДАТЕ И МЫШОНКЕ. В доме у Шуры появились канарейки. Завели их для маленького Саши, но и живущего комматной жизнью Шуру — врачи еще не разрешили ему выходить — они тоже очень занимали.

— Странно, — сказал мне Шура. — В доме у нас сегодня такой шум: у Мальчика товарищи, и все голосистые, и они еще себе на подмогу телевизор

включили, а он орет, стонет, рыдает, хохочет, стреляет, взрывает бомбы, низвергает водопады, скрежещет железом и рычит тигром... С ума сойти можно! Птичкам хоть бы что — они себе поют. Непонятно даже, что это значит. Так, пожалуй, им начнут завидовать все птицы, еще живущие на свободе. Посмотрят, подумают и скажут: — Переселите нас в клетки, в них удобнее, безопаснее и приятнее.

— Сомневаюсь, — сказал я. — Сомневаюсь, чтобы все... И чтобы сами... Чтобы наш степной жаворонок, например... Да чтобы он сам попросился в клетку! И чтобы он пел в ней... Да он и минуты в клетке не проживет... Ни минуты...

— Это вы от имени жаворонков? — улыбнулся Шура.

— От имени.

— А может, все-таки не надо от их имени? А? А вдруг жаворонки сами за себя решат. По-своему. Придет однажды к вашим степным певцам какой-нибудь горячо влюбленный в них добрый, благородный человек. И какой-нибудь жаворонок, самый чуткий, самый пронизательный из всех жаворонков, сердцем почувствует его доброту и благоволение... И, показывая добрый пример всем жаворонкам, доверится этому доброму человеку. Всецело.

— Ну а что дальше? — Я никакой не скептик и вовсе не собирался сейчас спорить с Шурой, но как раз в те дни получил я из Джанкоя письмо, в котором мой школьный товарищ, а ныне пенсионер, с большой грустью сообщал о том, как пострадали, «от человека пострадали родные наши присивашские степи». А дальше следовал печальный список обратимых и необратимых потерь: «Исчезли дрофы — перебили; исчезли лисы — перебили; ушел с Сивашей на уединенные острова Тендровского залива Мартын-гуртовой — так, если ты еще помнишь, мы по-местному, по-таврически зовем Чайку Черноголовую. А Мартын-гуртовой не просто красивая птица, хотя красив он, наш Мартын, необыкновенно — глаз нельзя оторвать от его блестящей черной головки с ярко-красным клювом. И лапки у него тоже красные, а грудь белая. Одним словом, красавец из красавцев, но он не только красотой своей славен — он редкий труженик и вернейший помощник хлебороба. Подсчитано, что один Мартын-гуртовой за день уничтожает 500 вредных насекомых, в том числе и таких отъявленных пакостников, как жук Кузька и клоп Черепашка, а это значит, что один Мартын-гуртовой спасает за день 8 кг пшеницы. Мне лично этого хлеба за две недели не съесть. Вот какой красавец и кормилец жил у нас на Сивашах. Жил — и вот ушел. Слишком шумно стало на Сивашах. Я не говорю о войнах — только на моей памяти прогромыхало в этих местах две больших войны — войны это всегда и шум, и вообще всему живому вред, я говорю о мирных днях. После последней войны район Сивашей стал одним из самых шумных мест в Крыму — здесь появились новые большие химические заводы, расширились промысла по добыче соли, в этих местах пролегают железные и автомобильные дороги, а они гудят и шумят круглые сутки, а над Сивашами к тому же множество воздушных дорог, а это уж самые шумные, особенно если летят реактивные. Вот наш Мартын и не выдержал всего этого шума-грохота и ушел. И, как ты сам понимаешь, не каприз это, а самозащита — шум мешает ему производить потомство. Впрочем, не всякий шум — шум ветра, моря, дождя, грозы совершенно не трогает этих чадолюбивых птиц, но если в ту пору, когда они насиживают яйца, появиться вблизи человек — пеший ли, на коне, на велосипеде или мотоцикле, на моторной лодке или на низко летящем самолете, — птицы приходят в неистовство, расклеивают яйца, покидают гнездовья, и, как правило, тысячи брачных пар — а некоторые из них состоят в браке уже не первый год — расходятся и в то лето уже не выводят птенцов. Не терпит наш Мартын никакого вмешательства в свою семейную жизнь, заботится он прежде всего о продолжении рода своего и ради этого и покинул обжитые места. Но хотя он и перебрал местожительство и стал островитянином — «работает» он по-прежнему на материке и пока еще летает над нашими степями. И временами довольно далеко залетает, на сотни километров, и хлеборобы Херсонщины, Николаевщины и Северного Крыма по-прежнему не могут нахвалиться нашим Мартыном. Но меня, дорогой друг, все время не покидает тревога, а что будет, если шум доберется и до тех заповедных островов в Тендровском заливе?! Тогда что? Тогда прощай, значит, навеки, Мартын-гуртовой... Тогда уж, конечно, навеки».

Вот какое тревожное и горькое письмо получил я тогда от своего земляка-джанкойца. И, как видите, в нем опять-таки о шуме. Уже целый монолог есть о нем в этом сочинении, и снова: шум, шум, шум. Но то был разговор главным образом о городском шуме (что о нем и о других гримасах урбанизации сказал и написал Шура, что о них думаю я и что говорили мы об этом друг другу — вот о чем в сущности тот монолог), и мне как-то в голову не пришло, что добрался он и до наших присивашских степей. А он, судя по письму моего друга, уже давно разбойничает там. Да еще как разбойничает — он не только мешает

жить уже живущей жизни, но пресекает ее еще в зародыше — ведь тысячи птенцов, которые так и не вылупились из яиц, на его совести. Господи, как же все-таки укротить этого разбойника, как утихомирить его!

Как видите, мне вовсе не до идиллий было в те дни. А Шура как раз самую-то что ни на есть идиллическую картину нарисовал. И я вздыбился: — А дальше, дальше что? Ну, один умный жаворонок доверился одному доброму человеку. Ну а другие жаворонки? А другие люди? Надо, чтобы все жаворонки доверились всем людям, а для этого нужно, чтобы все люди стали добрыми. Все человечество. А когда ж это еще будет? Не скоро ведь.

— Да, не скоро, — согласился Шура. — И все-таки добрый пример...

Добрый пример... Их много сейчас, добрых-предобрых примеров. Впрочем, тут я определенно не прав. Разве только сейчас? А раньше? Очень может быть, что раньше их было больше или, может быть, столько же, но мы просто меньше знали о них. Не было ведь раньше таких мощных средств массовой информации. Да и сами массы не проявляли такого интереса к этим проблемам. Ну а сейчас это уже не простой интерес, а я бы сказал — жгучий. Да оно и понятно: натворили, набедокурили, и вот спохватились. Тут и чувство вины — не у всех, но у всех еще, но у многих — перед меньшими нашими братьями, и тревога за завтрашний день нашего общего с ними дома. Много тут всякого — и доброго, и эгоистичного, и разумного, и инстинктивного... Много всякого... Но факт остается фактом — есть проблема. Волнующая. Актуальная. И вот дождь, ливень (верю, верю, что благодатный дождь, что к урожаю ливень) добрых примеров. Нам сообщают о них газеты, журналы, радио, телевидение. Вот рассказ об университетском профессоре, который ушел в джунгли, посвятив свою жизнь служению меньшим братьям. А вот заметка об обитателе тайги — медвежонке, который так доверился людям, что ежедневно ходит к ним в гости и САМ, по доброй воле — ведь не пленный, не прирученный, не дрессированный — дает поселковым ребятишкам забавные «представления». А вот сообщение о журавле, который опять-таки САМ, по своей воле пришел в дом к крестьянину и прижился в нем, а когда захотел улететь, САМ захотел улететь, то улетел. А вот сообщение о дельфинах. Но о них столько пишут и говорят, что я не стану повторяться. А это уж о небывало добром примере, о потрясающе добром примере — это о том, как крокодилы, да, да, крокодилы, сблизились с жителями одной африканской деревни. На основе взаимного доверия сблизились. На взаимовыгодной основе сблизились — вы к нам по-хорошему, и мы к вам по-хорошему, вы нас не убиваете, и мы вас не убиваем. И это не какая-нибудь холодная нейтральность — это в известной мере добрососедство и приязнь. Деревенские ребятишки купаются в реке, кишащей крокодилами, случается даже так, что те принимают участие в их играх и, представляете себе, не пожирают ребятишек, а играют с ними, хотя и принадлежат к роду заядлых людоедов.

Такой выбор между истребительной войной и миром, сделанный тамошними людьми и тамошними крокодилами (а сделали его и те, и другие, как я думаю, САМИ, по своей воле, ведь это же не власти и подвластные, не победители и побежденные, а только соседи. Пожалуй, что только сама жизнь в определенной мере воздействовала на их выбор — жизнь вообще и тамошние ее обстоятельства в частности), такой, повторяю, ВЫБОР заставляет нас думать, думать, думать, он, этот добрый выбор, вселяет в нас радужные, до головокружения радостные надежды.

Но в тот день, когда мы говорили с Шурой о канарейках и жаворонках, я был, как вы уже знаете, в ином настроении и меня, честно говоря, так и подмывало возразить Шуре, сказавшему: «Все-таки добрый пример...». «Примеры примерами... Но что вы скажете по поводу моих присивашских степей?» — скажу я и выложу траурный список ее потерь. Но ничего этого я Шуре не сказал и траурного списка не выложил. Посмотрел на Шуру и понял: ни к чему это. Шура, конечно, огорчится, но не поколеблется и как верил в силу добрых примеров, так и будет в них верить. Он у нас Такой... Но я ведь тоже из этой породы, из породы верующих в победу сил добра, в силу добрых примеров. И вырастили, и воспитали нас на добрых примерах, а иначе кем бы мы выросли... Ведь вокруг нас было столько зла, столько соблазнительного, увлекательного зла...

Отец мой был хорошим рассказчиком, и от него я, прежде чем из книг, узнал о том, как добывают уголь — в молодости отец работал углекопом и сам добывал уголь в одной из донецких шахт; узнал я от отца, и как выращивают породистых лошадей на конных заводах — в молодости отец на одном из них учился конно-ковочному делу; в молодости своей отец занимался многими делами: работал он и в доменном на металлургическом, и в кузнечном на машиностроительном, бурил артезианские колодцы в безводной степи, плавал матросом по Азовскому и Черному морям на пароходах торгового флота, работал набор-

щиком в типографии и механиком локомотива на гармане богатого степного «барона», кочегарил на паровой мельнице и даже кочевал с цыганами-кузнецами по всей Херсонщине.

Мне, конечно, очень нравились веселые, «приключенческие» рассказы отца, но, как все тогдашние — да не только тогдашние — мальчишки, я любил рассказы про войну, а отец, который только-только отвоевался, как раз о ней меньше всего рассказывал, а если и рассказывал, то совсем не о том, что мне хотелось услышать. Я любил такие рассказы о войне, в которых стреляли, рубили, кололи, в которых лилась вражеская кровь и летели с плеч срубленные вражеские головы, а в рассказах отца ничего этого не было, а если и была кровь, то это была своя, а не вражеская. В рассказах отца наши воины, на мой тогдашний взгляд, и не воевали вовсе, а занимались черт-те чем — они то и дело спасали и выручали друг дружку и делились друг с другом всем, что имели: последней рубахой, последней крошкой табака, последним сухарем, последней каплей воды... Словом, отец рассказывал про войну только Доброе, Трогательное и Веселое — и не потому, конечно, он ТАК говорил о ней, что сам был добрым и веселым — это само собой разумеется, — а главным образом по причинам, которые я тогда еще не понимал... Не понимал и сердился: чего же он так! Можно подумать, что не воевал человек... А ведь воевал... Ведь был солдатом пехоты на трех войнах... Так чего же он так!

Только спустя четверть века, вернувшись с войны, я понял, почему отец так, а не иначе, говорил тогда о войне. Только четверть века спустя я понял, наконец, до конца понял своего отца-солдата.

И рассказанную мне когда-то отцом солдатскую легенду о Солдате и Мышонке я тоже понял до конца лишь спустя много лет (лет тридцать я о ней вообще не вспоминал, не доводилось, а тут заговорили мы с Шурой о наших меньших братьях, об их доверии и недоверии к нам, людям, и она сама вспомнилась) — рассказал я ее Шуре, и вдруг открылся мне весь сокровенный смысл мудрой солдатской легенды. А легендой назвал эту историю сам отец. И объяснил почему: солдата того отец сам не видел, поскольку служили они в разных полках. Но слышал о нем отец на той давней, совсем уже давней русско-японской войне очень много. Разное слышал — он был солдатской знаменитостью, тот солдат, а о знаменитостях всегда всякое и разное говорят. Одни говорили, что он великан собой и ходит в правофланговых, другие, наоборот, утверждали, что собой он совсем не видный и больше смахивает — и ростком, и характером — на подростка - недоростка. Но все сходились на одном, что добрее его во всей русской армии солдата нет и что смелостью он тоже многих превзошел, а что он веселый и озорной, так об этом уж и говорить не приходится, это само собой, как положено солдатской знаменитости. Он и остролюб, каких мало, и первый запевала, и первый плясун, он и на ложках за целый оркестр сыграет, и на гребешке, и на губах, и свистом изобразит любую музыку, какую хочешь. Вот с этого свиста и началась его дружба с мышонком. Ранило однажды в деле того солдата, не сильно ранило, и фельдшер велел ему отлежаться с недельку. И вот лежит себе солдат в китайской фанзе, один-одинешенек лежит на полном фельдшерском попечении, и скучает, и насвистывает что-то от скуки. На этот-то свист и явился перед ним мышонок. Солдат музыку насвистывает, а мышонок слушает, в задумчивости слушает, в неподвижности, хоть бери его в этот момент голыми руками — не шелохнется.

Как там в подробностях все происходило, не знаю. И отец, наверное, не знал — ему не рассказали, и он мне не рассказал. А дальше, по рассказу отца, произошло вот что: пришел срок солдату возвращаться в строй, и жаль ему стало расставаться с мышонком. Выпросил он у фельдшера жестяную коробку из-под леденцов, оборудовал в ней мягкое гнездо, пробил в крышке дырочки для воздуха и, показав на распахнутое это жилье, сказал мышонку:

— Давай решай, братец... Либо прощай навсегда, либо полезай в коробку... Не навсегда, конечно... Придем на место — выпущу, не беспокойся.

Ну и мышонок, представьте себе, полез в коробку. САМ полез. Добровольно. Так они стали жить-поживать. Если рота на марше — сидит себе мышонок в своем домике-коробке, а коробка в солдатском кармане. Приходят на бивак — солдат мышонка на волю выпускает: гуляй! А хочешь, так иди куда хочешь... Но мышонок, видно, все понял: он на воле от своего солдата ни на шаг, все-таки мышонок он, и всякое может случиться, если ты мышонок, если ты такой маленький, а кругом тебя война. Но мышонок зря опасался: в полку, а в роте тем более, его полюбили, все его берегли, а он своими потешными выходками смешил солдат до упаду. Даже командир полка и полковой батюшка приходили в роту на него полюбоваться. И тоже смеялись, конечно. Полковник расщедрился и приказал выдавать на мышонка порцию сала и сахара, а священник, отсмеявшись, провозгласил торжественно: «Велик господь бог наш, велик».

Вот, значит, как все было сначала. Но известно, на войне, кроме войны, ничего долго не длится. Однажды пришел приказ в роту вызвать охотников на какое-то — а какое, отец не рассказал, должно быть, не знал, — очень опасное смертельно опасное дело. Охотники, понятно, нашлись, да и наш солдат тоже вызвался. Ну, тут построили их и повели. Только и минуты не прошло, как возвращается в фанзу наш солдат, сует писарю коробку с мышонком и бегом догонять своих товарищей.

Вот так, примерно такими словами, я пересказал Шуру эту некогда рассказанную мне отцом историю. И, честно говоря, без какого-то «захода» рассказал, не придавая ей какого-то особого значения. Пришлось к разговору, и рассказал. И уже конечно, никак не рассчитывал, что она произведет на Шуру такое впечатление. А ведь должен был как-то об этом подумать — ведь это же был рассказ о человеке, который не пожелал вовлечь в наши кровавые человеческие распри доверившегося ему меньшего брата и уж вовсе не захотел тащить его за собой на верную смерть... А такое, как вы сами понимаете, не могло не затронуть Шуру. И Шура сказал мне то, что я давно должен был сказать многим людям или хотя бы самому себе.

— Можете не сомневаться — он был Правофланговым, этот солдат, — сказал мне Шура. — Высокий это был человек. Из самых высоких.

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ. В «Монолог о Шуру» я написал, что встречались мы с ним только в Тбилиси, но я просто забыл сказать о том, что однажды встретил его в Сухуми... Зашел к знакомому, а его домашние у телевизора, и вдруг на экране лицо Шуры, его голос, его стихи. Не знаю почему, но Шура показался мне каким-то... ну не совсем Шурой... И не очень знакомым мне. «Нетелегичный, — сказал Шура с улыбкой (это, понятно, в Тбилиси, после моего возвращения из Сухуми). — И потом учтите, не в ту раму я полез. Любому портрету только его, ему предназначенная, рама подходит, а я не в свою, в чужую» (а Шура, мастер фотографии, знал толк в портретах и рамах к ним). И еще Шура сказал по этому поводу: «Испугался я, подумал: с чем же я вхожу сейчас в тысячи чужих домов? Одно дело — книга... А тут сквозь стены, через закрытые двери и окна, и нате вам — я, Цыбулевский, и это мои стихи. И вот страшно мне стало: а имею ли я право на это? Чтобы вот так в каждый дом... И в то же время жажда такого общения. А также мысль: а может, это нужно людям, может, все-таки пригодится им».

МАТЕРИНСКИЙ РОДНИЧОК. И во второй раз Шура на голубом экране — и даже не Шура, а его сердце, уменьшенное до размеров светящейся черточки или кружочка, до размера светлячка, — что-то такое трепетало и двигалось на том экране, а я боялся на него смотреть — потому и не запомнил — боялся, а что если оно, сердце Шурино, еще больше уменьшится, а потом еще и еще и затем вовсе исчезнет. И я сел к тому экрану спиной. А Шура лежал на железной больничной койке — весь в проводах, весь в датчиках на обнаженной груди и руках, — лежал очень тихий, бледный, уходящий, с пересохшими губами. И вдруг спросил меня, показывая глазами на провода и датчики: «Пожоже я на астронавта?». И сам ответил: «Пожоже. И вот улетаю, далеко... В космос».

До этого он никогда не говорил со мной о своей смерти, а тут вот сказал. А потом о родничке. Это когда Шура уже вышел из больницы, он сказал мне, что там, на экране в реанимации, я видел не сердце его, а материнский родничок. Я не очень понял Шуру, потому что говорил он медленно, очень тихо — он был еще совсем больной, — и я подумал, что речь идет о родничке, который бывает у новорожденных, — такая мягкая соединительная, еще не окостеневшая ткань на черепной крышке новорожденного, — и приложил руку к своему темени. Шура покачал головой. «Нет, тот родничок окостеневаает очень быстро, в первые же месяцы жизни, — сказал Шура, — а этот внутри человека, и он никогда не окостеневаает, никогда не иссыхает и умирает он в человеке уже после всего — все умерло в человеке — мозг, сердце, а материнский родничок еще живой. Мое сердце уже не годилось, а на экране был этот родничок».

Несколько позднее Шура написал рассказ «Родничок» — об этом неочередном своем пребывании в больнице, об этом и не об этом, о многом из того, что зовем мы общим именем — жизнь и общим именем — смерть.

ХЛЕБ МЕРТВЫХ. Потом Шура еще несколько раз говорил со мной о своей смерти, приближение которой он, видимо, чувствовал. Помню, был разговор о кахетинском виноградаре, с которым Шура познакомился в Телави, о желании этого человека после смерти прорасти виноградной лозой. «А вот чем я про-



расту! — сам себя спросил Шура. — Деревом? Каким? Сорняком? Какой из них самый страшный? — спросил он меня. — Самый бесполезный? Сурепка? Чертополох? Эх, были бы у меня здоровые почки, я бы непременно стал донором. Умер — и почки сразу другому. А лучше всего послужить людям, как мертвые из рассказа художника Метревели».

Лео Метревели, которого назвал Шура, — замечательный человек и очень хороший тбилисский художник — однажды рассказал мне (а я потом рассказал об этом Шуре), как он, Лео, жил в фашистских концлагерях. Вот запись эпизода, который имел в виду Шура: «...Когда умирали наши товарищи, мы об этом сколько можно не заявляли, терпели, а мертвецов усаживали на нарах с открытыми глазами, с вывернутыми на коленах ладонями, и раздатчик клал на эти ладони пайки хлеба. Хлеб этот делили живые, и кто знает, скольких он спас от смерти. В том числе и меня».

Вот так хотел и Шура послужить людям даже после смерти своей. А что касается пайки хлеба, так Шура очень хорошо знал ей цену — черной, крохотной, тяжелой от воды и больше похожей на глину, чем на хлеб, и все же спасительной.

*** Так уж сложилась эта моя повесть (а повести, как мне думается, в какие-то редкие часы и дни сами собой складываются, а сложившись — сами просятся на бумагу и сами пишутся, вода нашими перьями), так она сама себя выстроила и определила, что в ней говорится о Шуре главным образом той тяжелой поры, когда он болел, когда он страдал. А в страданиях разные люди ведут себя по-разному. Один выставляет свои страдания, свои муки в молитвенной надежде, что добрые люди, близкие люди пожалеют и жалостью своей исцелят и спасут. Жалость святое чувство и святое дело, и любое слово против нее кощунственно. Но что правда, то правда — власть ее ограничена. И не нами, людьми, ограничена — природой. Другой же страдающий человек никогда, ни при каких обстоятельствах не обнаружит свои страдания, в силу многих свойств своей души и характера ни за что не покажет другим, что мучается, и уж, конечно, не позволит себе обречь на муки сострадания близких своих. От Шуры, например, в дни его болезни, когда, по мнению врачей, он невыносимо страдал, я ни разу даже самого этого слова — страдание — не слышал. И тем более не слышал я от него слов «я, знаете, очень страдаю». И не только я — никто из близких этих слов от Шуры тогда не слышал. И даже подруга Шурина, жена его Кира, не слышала. Даже она. Тут, разумеется, сразу же возникают какие-то не простые, не рядовые слова о Шурином мужестве, но я хорошо помню, как Шуру буквально всего передернуло однажды от подобного славословия. А для меня это равносильно запрету, и потому скажу обыденнее и скромнее: просто он такой человек, наш Шура, от рождения, вероятно, такой, и я знаю его только таким и другим представить себе не могу.

У одного человека в дни страданий исчезают все его известные нам достоинства и добродетели и остаются, а также обнаруживаются новые и совершенно неожиданные слабости, недостатки, изъяны, а нередко и пороки — сокрытые, а теперь извлеченные страданием из самых тайных тайников пороки. С другого же человека страдание словно смывает все его известные нам до этого недостатки и слабости и прибавляет к прежним достоинствам все новые и новые, в том числе и такие, о которых мы даже и не подозревали. Вот и Шура в дни страданий стал для меня и всех своих близких... Но молчу, молчу — соблюдаю запрет на слова, отвергнутые Шурой. Скажу только о том, что о своих недостатках и слабостях Шура сам написал в своих произведениях. Строго, беспощадно написал — даже о самых обычных, незначительных, вполне простительных слабостях без всякого снисхождения написал. Написал так, как подобает честному художнику — честный художник не может по-другому писать о себе.

А я не могу по-другому писать о Шуре. Вот так. И только так. И я пишу о нем, как хочу, как могу, как должен и прежде всего, прежде всего, как пишется.

РАССКАЗ О РУКЕ. Сначала я познакомлю вас с теми записями в Шуриной рабочей тетради, которые были сделаны к этому так и не написанному рассказу о Руке. К сожалению, их совсем немного — работа над рассказом только начиналась, и это были первые к нему заметки. Вот они:

«Невидимая рука снимала всех птиц с неба».

«Осторожная такая ладонь — они так разгоняются (расталкиваются) перед сном».

«Утром та же рука выпускала еще сонных птиц в небо возле купола, бережно доставая их из листвы».

«Манжет руки. Ее сюрреалистичность, т. е. более чем фотографическая достоверность и очевидность».

«Вы замечали, как пустеет вечеряющее небо? Вы не могли этого заметить? Тут тот же ряд внезапностей, какой, например, нельзя уследить, как распускаются деревья весной».

«Сверху все казалось как-то компактней, все ближе расположилось друг к другу — все, кроме самой шири, которая казалась еще шире и необъятней. Все как-то четко расположилось в пространстве».

Вот и все, что сохранилось от этого рассказа на бумаге. Остальное в памяти товарищей и близких. Мне посчастливилось — я дважды, почти подряд, слышал рассказ Шуры о его задумке: один раз Шура рассказал о ней мне, а в другой, дня через два, при мне Ушанги Рижинашвили. Ему новорожденный сюжет был сообщен Шурой как-то посреди разговора, без какого-либо предисловия, просто было сказано:

— А я, представьте себе, рассказ задумал...

А мне Шура сказал, как только я вошел:

— Знаете, у меня такое ощущение, будто жизнь моя в последнее время необыкновенно ускорилась. И сама она заспешила и меня то и дело подгоняет: «Давай, давай, работай... И ничего не откладывай... Сделай хотя бы самое главное, пока я с тобой...». И я... как бы это вам сказать... я уподобился аэродинамической трубе... Замыслы, сюжеты, строки, почти сложившиеся повести и почти готовые рассказы... И все они вихрем проносятся — и не мимо меня, не возле меня, а сквозь меня. Вихрем. И все сюжеты как на подбор — один другого интересней. Не знаю даже, за что ухватиться. И конечно, понимаю, что всего не успеть. Нет, уже не успеть. Но за один рассказ, под названием «Рука», я все же ухватился. Просто выхватил его на лету из вихря. Выхватил и уже ни за что не выпущу — непременно напишу.

— Это, должно быть, о руке вашего голубятника, — сказал я. Дело в том, что голубятник, которым так интересовался Шура, месяца два тому назад исчез. И произошло это, как утверждал Шура, при обстоятельствах весьма загадочных — Шура как увидел его в то субботнее утро, так сразу почувствовал: что-то тут не ладно. Потому что голубятник появился на крыше в необычном виде: на нем были лакированные, а может быть, просто до блеска надраенные башмаки — они даже не сверкали, а просто пылали под солнцем, — и костюм на нем был вечерний, черный, а рубаха к нему ослепительно белая, а галстук ослепительно пестрый. Вот этот пестрый широкий галстук, пожалуй, больше всего поразил Шуру — его голубятник никак не сочетался с таким галстуком. Ну никак! Голубятник извлек из-под галстука, вернее, из-за пазухи, белого голубя и какое-то время держал его, ничего не предпринимая, на неподвижной протянутой вперед правой руке. Несомненно, он рассчитывал, что голубь тут же взлетит. Но голубь преспокойно сидел себе на хозяйской ладони до тех пор пока его не подбросили вверх. Легонько, но все же подбросили... Голубь сделал круг над крышей и завис над головой голубятника, словно решая — летать ли еще или сесть. А голубятник хотел, чтобы он летал, и, воздев к небу руки — широкие рукава парадного пиджака тотчас же опустились, обнажив ослепительно белые манжеты парадной рубашки, — замахал ими на не желающего летать летуна. Наверное, у него были на то причины — может, он был болен, а может, не привык и не мог летать в одиночку, — но так или иначе, сделал еще один круг над крышей, голубь решительно пошел на посадку. И голубятник, взяв его на лету каким-то неуловимым для глаза движением все той же правой руки, тут же упрятал под галстук, за пазуху. И больше голубятник на той зеленой крыше не появлялся. Ни его голуби, ни он сам. А Шура все ждал, с надеждой ждал — вот-вот появится голубятник с зеленой краской в ведре и с кистью — ведь уже весна и обычно в эту пору голубятник красит крышу (зеленый цвет требует частого обновления) — он быстро тускнеет, обесцвечивается под нашим жгучим солнцем). Сначала он ее покрасит, а затем выпустит в погодубевшее и тоже словно заново окрашенное к весне небо свою резвую голубиную стаю... Но вот, как вы уже знаете, — ни голубей, ни голубятника, а крыша его дома к первому летнему месяцу и вовсе поблекла.

Я был уверен, что моя догадка верна — конечно, это о руке исчезнувшего голубятника хочет написать Шура. А он сказал:

— Нет, не совсем так. Рука голубятника, надо думать, способствовала... Но, как вы сами знаете, не так это просто происходит, как некоторым кажется — увидел и тут же отобразил. Если хотите, я расскажу вам, что задумал... Пока только схема, пунктир, конечно, но уверен, что вы разберетесь что к чему...

И вот что, примерно, рассказал мне Шура (примерно — потому что я, разумеется, по понятным причинам, ничего не записал тогда, но если бы и запи-



сал даже, то все равно это было бы примерно, приблизительно — Шурину про-
зу мог записать точно только сам Шура, только он и только своей рукой):

...Человек сидел у распахнутого окна («Вот как я обычно сижу», — сказал Шура) и смотрел на вечеряющее тбилисское небо. Только что в нем летали стрижи и голуби, но вот оно стало пустеть... Много раз видел уже человек, как это происходит, и, кажется, уже не однажды возникала у него мысль, что это какая-то невидимая рука снимает с предвечернего неба всех птиц. И вот сейчас он вдруг увидел эту руку. И он подумал о ней: какая же она добрая. И какая заботливая. Вот бы мне... И только он так подумал, как оказался на большой, теплой, надежной ладони.


Были у человека в жизни — а он прожил уже немало — и другие затаенные желания, но они никогда не исполнялись, а это... да еще так мгновенно... Но размышлять обо всем этом уже не было времени — потому что с высоты, на которую вознесла его эта добрая — а чья она, чья все-таки? — рука, он увидел весь свой город и все его ближние и даже дальние окрестности. Он и раньше, бывало, видел все это с высоты — с высоты холмов и башен, но таким и так — еще никогда, потому что теперь все это как бы сбжалось под руку, на которой он так мирно, так беспечно и так удобно устроился. Вот улица, на которой когда-то жила его первая любовь... А вот школа, в которой он учился. А это университет. А вот у этой извилины реки ему когда-то поклялся в дружбе человек, который потом его трижды предал. А вот загородный духан — прекрасный духан, человек не раз пировал в нем со своими дорогими, на всю жизнь дорогими друзьями, но сейчас, с высоты не сразу узнал. Да и как узнаешь, если какой-то художник — пожалуй, что из последователей несравненного Пирросмани — изобразил на его наружных стенах все, чем этот духан славился и славится. Тут и вино в стаканах — золотистое, розовое и темно-алое вино; тут и зелень на деревянных блюдах, и шашлыки на шампурах, и еще живые рыбы — их только что бросили на стол куринские рыбаки; тут и пунцовая редиска, и коричневое либю, и, уж конечно, король стола — шоти-пури. Удивительно живо и приманчиво нарисовал все это на стенах художник. Но, может, не красками все это... И может, не художник... Может, выставил буфетчик все, что есть у него в духане, — для удобства посетителей выставил.

А вот небольшая, мощенная брусчаткой площадь в районе старого города. В центре площади скверик — несколько деревьев и несколько скамеек, и у одной из них фотограф-моменталист, который все целится во что-то дулом старинного, на треноге аппарата, но ничего не снимает. Уже давно, много лет ничего не снимает. Почему? — думает человек, вглядываясь в фотографа с небесной своей высоты. — Почему он не снимает? Может, охотится он за самым прекрасным моментом жизни и все думает, все сомневается — это не тот, это не самый... Либо все моменты, все мгновения в окружающей его, в открывающейся ему жизни настолько прекрасны, а сам фотограф настолько чувствителен к красоте, что только и успевает охать от восторга и не успевает нажимать на затвор. А прекрасный миг тем временем исчезает. На то он и миг.

И еще увидел вознесенный на высоту человек то, что давно хотел увидеть, да все как-то не собрался, но тут... тут рука ушла из-под него. Нет, не выскользнула, не оторвалась, а именно ушла — мягко, по-доброму ушла. И человек остался один, сам по себе остался посредине предвечернего тбилисского неба.

...Мой дом на горе, я вижу то же самое небо — предвечернее, вечеряющее. И стрижей, которые таинственно исчезают в стене, — они и в самом деле похожи на чернофранных цирковых магов. Исчезли стрижи и пустое, совсем пустое небо. Почти мертвое. Тревожно. Тоскливо. Но вот звезда. Или только ее свет, а она уже миллионы лет как мертва, как исчезла. И снова сжалось сердце. Но все равно в небе возникла жизнь. После одной звезды, как это бывает на юге, сразу вспыхнули гроздьи, семьи, колонии звезд. И по всему небу — от края до края — звезды. Я на какое-то мгновение обрадовался этому и даже сказал себе где-то слышанное: «Звезда смертна, но звезды вечны».

Да, это так. Независимо от того, что мы об этом думаем и что чувствуем, независимо от наших желаний, отчаяния, согласия или несогласия, наших верований, нашего спокойствия и беспокойствия — независимо. Так устроен мир — звезда смертна, звезды вечны, и разум мой готов был признать, а может, даже примириться с этим: существуй он независимо от меня, автономно. Но разум мой живет во мне, а я живой, пока еще живой, с живым разумом и живой душой, с живыми глазами, в которых еще есть невыплаканные слезы, с глазами, которые еще видят и облака и травы... Так вот, пока я такой, а не иной, я никак, ни за что не могу, не хочу примириться с тем, что никогда уже не увижу Шуру, не услышу от него застенчивых слов: «Знаете, я задумал...», и уже это так — никогда не узнаю, что знал только Шура — ни того, например, что же



все-таки чувствует человек, оказавшийся посреди предвечернего тбилиского неба, и что все же сторожат ночные сторожа. И так это больно. Ах, почему мы, люди XX века, так сдержанны, почему мы разучились выражать свою скорбь так открыто, как наши предки. Мужественные, небывалой отваги герои прошлого — герои Руставели — плакали в радости и в горе, рыдали, прощаясь с погибшими друзьями, и не стыдились витязи своих рыданий и слез. Да и не в такие далекие времена — дядя Савелий, например, ни радостей своих, ни горя своего от людей не скрывал. А у него нередко бывали приступы отчаяния, тоски по умершим родным, близким, друзьям, добрым соседям — он многих потерял: войны, эпидемии, время — они все отбирали и отбирали у него этих людей. Мне довелось несколько раз бывать возле дяди Савелия во время таких приступов. Некоторое время он, бывало, задумчиво смотрел себе под ноги, затем подымал кверху глаза и громко, но пока еще не очень громко вопрошал: — Господи, зачем ты караешь меня смертью моих друзей, родных и близких... Зачем ты их... Когда вот я, грешный, весь перед тобой, — и он склонял свою голову, чуть вытянув шею и чуть повернув вбок, словно на плаху ее клал (чтобы рубить было удобнее), и ждал... Какие-то страшные для меня, невыносимо страшные мгновения ждал, что вот бог в самом деле отсечет или еще каким-то способом возьмет его повинную голову — вот она, карай, руби, бери, — ждал с закрытыми глазами — все ж таки, наверное, страшно, хоть и сам просишь этого, — и, не дождавшись, выпрямлялся, рванув на себе рубаху — от ворота и до пояса, и все пуговицы вразлет, — и уже строго, требовательно: — Зачем, зачем тебе, спрашиваю, другие? (Он никогда не спрашивал ЗА ЧТО, потому что сам себя считал величайшим грешником — должно быть, за те полстакана водки, которые он иногда выпивал за ужином. — Какой же это грех, если это с устатка и для веселья? Или за те часы, что проводил с красивой молодухой... Какой же это грех, если она уходила от него счастливая, настолько счастливая, что забывала даже снять приставшие к волосам стружки. И тогда, и сейчас я считал и считаю дядю Савелия безгрешным человеком.) — Зачем?! — кричал дядя Савелий и колотил себя кулаками по груди и рыдал, не вытирая слез и не принимая ни от кого утешения, да и редко кто пытался в такие минуты его утешать. Даже я, мальчишка, понимал, что этого не следует делать.

И моя благовоспитанная, дисциплинированная рука тоже тянется к вороту рубашки (если не порвать, то хотя бы расстегнуть, дышать уже нечем, задыхаюсь, и сквозь мои до боли стиснутые зубы, стиснутые, чтобы удержать крик, — нельзя кричать в городе, это в лесу, в тайге, в поле, в тундре, в горах, в открытом море, пожалуйста, кричите, вопите во всю глотку, а в городе нельзя, неприлично — ну а раз нельзя, значит, нельзя, но все равно сквозь стиснутые зубы и сквозь губы, тоже до боли сжатые, прорывается сматое, жалобное, горькое и безответное, всегда, всегда безответное: — Зачем...

Все это написано в первую годовщину смерти А. Цыбулевского летом и осенью тысяча девятьсот семьдесят шестого года, в городе Тбилиси. Мирного, ясного неба нашему любимому и любящему, нашему строгому и доброму городу. Да славится, да святится он. Амины!



საქართველოს
საბავშვო გამომცემლობა

*Критика и
литературоведение*

Гурам БАТИАШВИЛИ

О том, как Зеснахе становится личностью

•
НОВЫЙ РОМАН
АВТОРА
«ТУТАРЧЕЛЫ»
•

ЕСТЬ писатели, сами определившие для себя, для своего творчества то высшее мерило, которое не только утверждало их в нашем сознании, но, в свою очередь, стало для нас критерием оценки каждого их нового произведения, пока оно само, обогатив новой ценностью мир литературы, не станет более высоким мерилom всего созданного данным автором.

Нодар Цулейскири существует для нас прежде всего как создатель «Тутарчелы». И каждое новое его творение возбуждает интерес, некогда пробужденный именно этим романом, заставившим поверить в большие потенциальные возможности этого писателя.

Такова одна из причин, привлечших внимание к новому роману автора «Тутарчелы», опубликованному в 1975 году в альманахе «Гантиади». Кроме того, «Зеснахе» — так называется это произведение — касается весьма интересного явления в сегодняшней жизни республики. Цель автора романа — отобразить строительство ИнгуриГЭС, быт ее строителей. «Зеснахе» — первый и пока единственный в грузинской прозе роман о людях этой уникальной стройки. Уже сам этот факт говорит о многом.

Прежде чем написать этот роман, Н. Цулейскири провел много времени на строительстве ИнгуриГЭС. Детально изучив быт создателей этого грандиозного сооружения, он написал и опубликовал четыре года назад интересный, острополюемический очерк, в котором не только искренне сожалел о неустроенности быта будущих персонажей своего романа, но во всеуслышание говорил об этом, со всей принципиальностью ставя вопрос о необходимости улучшения условий их существования. Забота о людях, помощь им — первейший долг писателя. И в этом отношении примером, достойным подражания, является опыт русской прозы и в особенности публицистики, показывающий замечательные образцы принципиальности, партийности, объективности.

И еще одно обстоятельство обостряло интерес к новому роману Н. Цулейскири. Хотя уже существует немало посвященных аналогичным явлениям произведений, в которых отражены будни больших общенародныхстроек, быт рабочего класса, у нас все еще нет высокохудожественного полотна на эту тему. Никогда не удастся создать роман, который бы своим высокохудожественным уровнем не только определил отношение к теме, но и утвердил традицию отношения к ней. И тут вновь приходится обратиться к примеру русской прозы, дающей в этом отношении завидные примеры. Если в прозаических произведениях, посвященных упомянутой теме, доминируют так называемые описательные, информационные элементы, то русская проза в ходе отображения великих народных строек показывает большие человеческие страсти, передает

дух времени. Стройка или какой-либо другой участок народного хозяйства предстанут в них местом, на фоне которого четко просматриваются человеческие страсти, формируются судьбы людей, определяются их взаимоотношения. А это крайне важно, ибо о чем бы ни писалось произведение — о строительстве Ингури или Цимлянской гидроэлектростанций, Байкало-Амурской магистрали или ЖинвалиГЭС, главное в нем все же человек, человеческая судьба, наиболее четко вырисовывающаяся на фоне того или иного события.

Скрупулезный анализ нового романа Н. Цулейскири, внимательный разбор каждой главы, являющейся его опорной точкой, позволяют сделать вывод, что все внимание автора направлено на центральный образ произведения — Зеснахе. Он старается максимально подробно передать ее жизненный путь, что ему вполне удается.

Вспомним, как познакомил нас писатель со своей героиней и как мы прощаемся с ней в конце первой части романа. Какова она, когда покидает свою маленькую деревню, и как едет в Тбилиси. Эти два события разделяет глубокий рубеж. В духовной жизни Зеснахе произошло много важного, имеющего решающее значение для человека. Мы познакомились с ней как с одной из многих простых влюбленных девушек. А из Тбилиси она уезжает как уверенный в себе строитель нашей страны, как человек, многое увидевший в жизни и многому у нее научившийся. И все это произошло за хронологически небольшой отрезок времени — всего три раза успела природа сменить свою окраску. Этот момент имеет большое значение, так как именно он обусловил успех главной линии романа, ибо как раз в совершенствовании образа Зеснахе и заключены многие его достоинства.

Пристально присмотревшись к расположению персонажей в романе, мы обнаружим, что на одной стороне стоит Зеснахе, а на другой — почти все персонажи произведения (чуть ли не Будзгуриа тоже). И это вполне понятно. Ведь Н. Цулейскири писал роман о Зеснахе, о том, насколько благотворно участие в большом народном деле влияет на обыкновенную мингрельскую девушку, как оно выявляет ее духовный мир.

Постепенно в произведении вырисовываются два его персонажа — Зеснахе и ИнгуриГЭС, Зеснахе и то большое народное дело, на службу которому она поставила свою жизнь. Правда, то же самое можно сказать и об остальных действующих лицах, поскольку и Будзгуриа, и Ноко, и Маргвелани, и Жоржи Хасиа, и Александр Петухов, и Нугзар Мтавиришвили, и Придон Пипия, и Резо Нерадзе, и «Колхоза», и другие, работая на ИнгуриГЭС, проявляют свои личные качества. Но ни одному из них автор не дает возможности так глубоко заглянуть в душу, как это имеет место в отношении Зеснахе. Ничьи достоинства, кроме ее, не показаны таким крупным планом. Слово писателя взирает на эту девушку сквозь увеличительное стекло.

Оставаясь до конца объективными и критичными, мы не можем не заметить, что в начале романа устремления Зеснахе в некоторой степени даже меркантильны. Возможно, Цулейскири делает это преднамеренно, чтобы разче показать слепую тягу нашей молодежи из села в город, в частности в Тбилиси, в высшие учебные заведения. Вспомним также, как Зеснахе пытается наладить отношения, с одной стороны, с матерью, которой не нравится ее жених, с другой — с Будзгуриа. Но как только она попадает на ИнгуриГЭС, включается в это большое народное дело, она начинает видеть жизнь совсем другими глазами. Именно здесь происходит главное событие романа — Зеснахе находит себя. С помощью этой стройки она определяет свое место в жизни, и теперь ее тяга в высшее учебное заведение обусловлена не самоцельным желанием во что бы то ни стало иметь диплом об окончании института, а жизненной необходимостью. В процессе трудовой деятельности Зеснахе убеждается в нехватке знаний, которые может дать только высшее образование.

Так вырисовывается в романе его главная тема — о влиянии, которое оказывает на формирование личности девушки участие в большом народном деле. Допустим на минуту, что Зеснахе не попала на ИнгуриГЭС. Как сложилась бы тогда ее судьба? Возможно, она даже окончила бы институт, вернулась в село, добросовестно там работала. Одним словом, она существовала бы и сравнительно спокойно провела бы свою жизнь, но никогда не стала бы личностью. Ею сделала Зеснахе ИнгуриГЭС. А какой водораздел лежит между существованием и становлением личности, достаточно ясно определила современная философия: человек, который существует, не способен выполнить свою миссию на этом свете, когда же он становится личностью, активной силой общества, ему под силу сворачивать горы. Н. Цулейскири удалось это сделать зримым, очевидным. В наших городах и селах живут тысячи девушек, подобных Зеснахе. Но далеко не все из них могут преодолеть свой личностный недостаток, чтобы подняться над собой. Поглощенные суетностью жизни, они становятся ее незримой частицей, которая ничего не значит, если это масса без потенции. Но став

личностью, превратившись в потенциальную силу, человек способен задавать тон событиям, направлять их. Из рядов этих тысяч Н. Цулейскири и вывел персонаж своего романа, показав нам его жизненный путь.

В связи с этим уместно напомнить одну, казалось бы, незначительную деталь романа. Зеснахе работает вместе с Леной. Однажды вечером какой-то незнакомый мужчина пришел к Лене прямо на строительную площадку, и после короткого спора (кстати, линия Лены и вообще ее личность в романе очень туманны. Кто она, к чему стремится? Не случайно, что для «Зеснахе Лена стала загадкой») она села в его машину и уехала. Уход Лены парализует работу всего участка, простаивает несколько десятков человек. Естественно, Лене за это грозят крупные неприятности. Понимая все это, Зеснахе принимает единственно правильное решение:

«— Погодите, я нашла выход! — воскликнула Зеснахе и мгновенно вскарабкалась на близстоящий более высокий блок, откуда сообщила Жоржи: — Отсюда все видно, пока две бады подниму, и Белова явится; не надо поднимать шума.

— В двух местах будешь работать? — спросил Жоржи.

— Да это совсем не трудно (позже мы убедимся, что это как раз довольно трудно. — Г. Б.), хотите покажу?

— Перестань ребячиться, спускайся, кого-нибудь найдут.

— Кого? Где найдешь оператора! Вы ведь лучше меня это знаете!.. Я уже начала...

Жоржи понравилась преданность Зеснахе, ее находчивость, умение быстро находить выход из положения. Кроме того, он сомневался, что скоро найдут другого оператора. Положим, думал он, поднимем шум, даже Кудрявцева приведем на плотину, а смена все равно простоят это время.

— Только отвечать будешь ты, учти! — крикнул он Зеснахе.

Решение Зеснахе выполнить работу Лены и таким образом выручить подругу показало нам благородство ее природы, преданность делу. Но одно дело решить, а другое — выполнить. Зеснахе сумела сделать то, за что взялась. И насколько выросла эта девушка, обретя черты личности, наделенной силой, способной направлять ход дела.

Зеснахе искала идеал. Для девушки ее возраста это естественно. Хуже, если это не так. «Узнав о чьей-либо доброте, она, преувеличивая, представляла ее носителя героем. Обожала то Жоржи Хасиа, то Александра Петухова, то Нугзара Мтваришвили... Когда же у кого-нибудь из них обнаруживала недостаток, огорчалась, переживала...»

И это тоже вполне естественно: поиск идеала означает, что он часто меняется. Но главный идеал, найденный Зеснахе и сделавший ее личностью, это то большое народное дело, участницей которого она стала.

Является ли Будзгуриа отрицательным персонажем? И вообще кто он? Какая миссия возложена на него? Какой авторский тезис он предполагает? — вот тот круг вопросов, который непременно связывается с именем Будзгуриа. Разобраться в этом клубке необходимо хотя бы потому, что Н. Цулейскири почти не проявляет своего отношения к этому персонажу, если не считать проскальзывающей кое-где легкой авторской иронии по отношению к нему.

Но так или иначе Будзгуриа все же имеет свою духовную биографию и, возможно, даже более сложную, чем у Зеснахе. Будзгуриа любит Зеснахе, а она его. Это яснее ясного. Не вызывает сомнения и то, что эта любовь заставила Зеснахе поехать на ИнгуриГЭС. Более того, именно он уговорил девушку сделать этот шаг. Но почему Будзгуриа хотел поехать на ИнгуриГЭС? Действительно ли всей душой хотел трудиться, принять участие в народном деле, как он это не раз говорил Зеснахе? Будзгуриа совсем иной тип человека, чем она. Он хотел использовать ИнгуриГЭС как трамплин для поступления в институт, а не как трудовое поприще. Впоследствии, избегая труда, Будзгуриа постепенно сформировался в личность, подобную которой в газетных фельетонах называют искателем легкой жизни.

Конечно, вряд ли найдется человек, сознательно ищущий в жизни путей, осложняющих его существование. Естественнее стремиться к цели кратчайшим путем, что и делает Будзгуриа. Но, несмотря на то, что он мягкий и как будто даже добрый, любящий и понимающий, это все же не настоящий человек, которому можно довериться и на которого можно опереться. Поэтому Будзгуриа не удастся завоевать любовь и уважение строителей, если только в его душе не произойдет значительной перемены, что довольно сомнительно. Коли его не изменили любовь к Зеснахе, трудовая атмосфера большой стройки, вряд ли можно надеяться на его перерождение. Скорее всего он станет антиобществен-

ным элементом. Завтрашний день Будзгуриа мне, например, представляется так: вот стоит он на улице с сумкой в руке (хоть какой-нибудь профессией он все же овладеет наконец — станет каменщиком, слесарем или столяром) в ожидании клиента; заработав деньги, отправится в закусочную, чтобы отдать дань вчерашнему похмелью...

Пока другой перспективы для него не видится. И это очень плохо. Почему процесс преобразования, формирования Будзгуриа не начался на фоне большого народного дела, каким является ИнгуриГЭС? Почему он, подобно Зеснахе, не стал личностью, той силой, которая стоит на службе общественного прогресса?

В романе Нодара Цулейскири ИнгуриГЭС представлена своего рода каталлизатором духовного формирования человека. Здесь на нее возложена миссия выявления истинной природы человека. На фоне этой общенародной стройки более четко вырисовывается то, что лежит в душе человека, быстрее протекает процесс его духовного развития. В душе Будзгуриа — ленивый, бездеятельный человек. И эти его качества очень быстро выявила ИнгуриГЭС. Именно она ускорила процесс душевной неуравновешенности Будзгуриа.

Как сложатся в дальнейшем взаимоотношения Зеснахе и Будзгуриа? Это вопрос трудный и болезненный, поскольку они любят друг друга. Не сегодня завтра им предстоит начать совместную жизнь. Для этого они уже подготовили жилье. Но будет ли единым путь Будзгуриа и Зеснахе? Если учесть их сегодняшней характер, устремления, образ жизни и поведение, это почти невозможно. Скорее всего Зеснахе придется изменить своей цели, стать исполнительницей воли и желаний Будзгуриа, в противном случае их жизнь будет проходить в постоянных ссорах. Оба исхода драматичны для Зеснахе, и ни один из них не принесет ей счастья. Может статься даже, что очень быстро улетучится любовь, влекущая друг к другу этих молодых людей, и Зеснахе останется с капризным мужем-неудачником, который часто выпивает и не имеет никакой перспективы в жизни (мы имеем в виду не карьеру, а перспективу нужного, полезного для общества человека). Элементы этой разочарованности, отказа от активной позиции уже заметны в образе жизни Будзгуриа.

А что будет потом, когда любовь лишится романтического ореола, когда жизнь, ИнгуриГЭС потребуют своего от Зеснахе и это не понравится Будзгуриа?

Сложная дилемма стоит перед Нодаром Цулейскири. Во второй части книги он должен дать ответ на все эти вопросы. А сделать это нелегко, поскольку цели и перспективы Зеснахе и Будзгуриа все более отдаляются. Пока ни один из них этого не чувствует (любовь их продолжается будто больше по инерции, чем по душевному влечению). Но наступит, должно наступить время, когда оба со всей остротой ощутят, что питаются крохами любви, а не настоящим чувством. Это тем более неизбежно, что в натуре Зеснахе рациональное доминирует над эмоциональным. Она никогда не забывает о той границе, которая должна существовать между нею и Будзгуриа. Никогда не позволяет себе подчиниться страсти, Будзгуриа все время просит разрешения поцеловать ее, но Зеснахе лишь иногда соглашается на это, поскольку не забывает, что пока они еще не женаты... И если уж чего-либо не хватает их любви для того, чтобы она была истинным чувством, так это самозабвенности. Будто все вымерено, все заранее определено. А любовь не знает границ, тем более в возрасте Зеснахе и Будзгуриа!

Итак, как видно из романа, Зеснахе не принадлежит к той категории девушек, для которых окружающий мир открывается через эмоции и которые способны потерять контроль над собой.

Ведь хотя Будзгуриа и неуравновешенная личность, но и он не лишен определенного обаяния, что становится особенно очевидным при сравнении его с Ноко. В характере Будзгуриа нет и намек на заносчивость и наглость. В то время как Ноко не постесняется схватить девушку и потащить в темный угол, а потом нанести ее защитнику физическое оскорбление. Он способен поднять переполох в вагоне и своей бестактностью поставить девушку в неловкое положение. Ноко борется не за женскую любовь, а за подчинение женщины, Любуй ценой хочет он подчинить себе и Зеснахе.

Духовный и физический портрет Ноко создан Н. Цулейскири на высоком художественном уровне. И это тем более важно, что на образ Ноко возложена функция передачи определенной позиции писателя, которой придается большое значение, так как она связана с вопросом духовной цельности человека. Эта позиция Н. Цулейскири вполне понятна. Он хочет поднять образ Ноко до уровня типичного обобщения и с его помощью пробудить в читателе протест против определенной части нашей молодежи. И эта цель в романе почти достигнута.

Где же истоки этого рождающего чувство протеста убожества в натуре Ноко? Писатель не отвечает на этот вопрос. Но он показывает нам тип духовно неуравновешенного человека.

Хотя молодых людей, подобных Ноко, и единицы, но они есть. Естественно, поэтому, что такие типы рождают спрavedливое чувство протеста.

В романе это достигается благодаря приемам, с помощью которых писатель передает образ Ноко. Рисуя его, Н. Цулейскири прибегает к детали, добавляющей нужную краску к палитре художника. Это речь Ноко. Как он говорит? Проследив за речью Ноко, не трудно догадаться, кто он.

Речь Ноко пересыпана русскими словами, но, к сожалению, он знает только русские слова, а не русский язык. Если бы Ноко знал русский язык и говорил на нем, где нужно, это было бы вполне нормально и естественно. Н. Цулейскири точно подметил, что такая речь, как у Ноко, признак духовной бедности.

Но мне все же кажется, что позиция писателя в отношении языка не вполне ясна для читателя, так как он поставил этот вопрос слишком прямо, не прибегая к какому-либо художественному приему. Используя он, к примеру, прием гротеска или шаржа, результат оказался бы более эффективным. А что же выходит? На первых порах Зеснахе не понимает Лену, многие пришедшие на собрание строители не понимают, о чем на нем идет речь и т. д. В конце все это остается сухой информацией, поскольку слова писателя не получили соответствующего художественного воплощения.

«Зеснахе» — роман многоплановый. Он населен множеством человеческих характеров, с помощью которых Н. Цулейскири дает не только реальную картину строительства ИнгуриГЭС, но и еще раз показывает единство наших народов. Правда, панорамная картина всей стройки лишена плоти, поскольку большая часть инженеров и рабочих предстает перед нами в виде голых схем. Но ощущение единой картины большой стройки мы все же получаем. И это не случайно: писатель хорошо изучил то, о чем собирался писать, глубоко вник в атмосферу стройки. Но попытка передать ее общий настрой, дух, к сожалению, не всегда увенчивалась успехом. Мы были бы не до конца искренни, если бы не сказали об этом, ибо Н. Цулейскири не относится к категории писателей, облегчающих себе жизнь. Лучшие примеры этого он показал во многих своих рассказах, не говоря уже о романе «Тутарчела». Пройденный им путь обязывает нас уважать его. На этот раз это уважение выражено в открытом отношении к его новому произведению.

Хотя, как мы могли убедиться, прослеживая ход его развития, линия Зеснахе разработана в романе исключительно тонко, он все же не стал новой художественной ценностью в творчестве писателя. Могут быть названы разные причины этого. Мне же кажется, дело вот в чем.

Н. Цулейскири глубоко ознакомился со стройкой ИнгуриГЭС. Сейчас он, очевидно, не хуже любого специалиста знает сильные и слабые стороны стройки. Целый ряд глав романа подтверждают, что Н. Цулейскири побывал на ИнгуриГЭС не как турист, что он глубоко знает быт своих персонажей. Все это очевидно. Но помимо знания материала существует еще обстоятельство, имеющее решающее значение в вопросах творчества. И его следует искать не в знании или незнании материала, а в самом писателе, точнее, в его индивидуальности, которой в данном случае отдается предпочтение.

Видимо, для творческой индивидуальности Нодара Цулейскири этот материал не стал органичным. Именно эта неорганичность и обусловила главный недостаток романа, выразившийся в информационном характере ряда его кусков. Когда Н. Цулейскири пишет о самой Зеснахе, о ее личном мире, переживаниях, касается отношений с Будзгуриа и Ноко, все подчиняется творческой логике. Описание же процесса строительства или производственных конфликтов имеет налет искусственности, кажется устарелым. В этих эпизодах видно только одно — писатель хорошо знаком с тем, о чем пишет. Но именно это глубокое знание словно и помешало ему показать суть явления. Вместо показа событий доминирует их фотографическая копия. Возможно, следовало выдержать какую-то дистанцию с материалом, отказаться от такой натуральной точности. Ведь не все, что важно на самой стройке, может быть интересным для литературы, тем более когда те или иные конфликты и ситуации переданы с натуралистической точностью.

Вот несколько примеров.

Безответственность Будзгуриа, не обработавшего бетон соответствующим образом, что повлекло за собой вмятины, вызвала большой шум и переполох на стройке.

Исходя из ее интересов, это, конечно, большой дефект, вселяющий тревогу. И целые страницы в романе отведены описанию возможных последствий этой

ошибки. Вся стройка взбудоражилась, люди перессорились между собой. Но в романе все осталось на уровне сухой информации. Для его художественного осмысления, для поднятия художественного уровня произведения этот эпизод ничего значительного не дал. Ведь читатель и сам знает, что ИнгуриГЭС — стройка уникальная, очень ответственная. И любой дефект там должен стать тревожным сигналом. Знает читатель и о равнодушии Будзгуриа к своему делу. Если вникнуть и в следующий эпизод, может создаться впечатление, что автор прибегает к характерному для французского кино приему «потока жизни». Конечно, право писателя выбирать те или иные художественные приемы, но, думается, в романе такого характера, как «Зеснахе», этот прием неуместен.

Заслуживает внимания и следующий пример.

Неожиданно Ноко прибежал на стройку к Зеснахе, схватил ее и потащил в темноту. Зеснахе закричала, укусила Ноко, и, когда в отчаянии собиралась снова это сделать, кто-то вышел из темноты, быстро встал между ними и спокойно спросил Ноко:

— Что ты хочешь от этой девушки, что случилось?

Этим незнакомцем оказался работник инспекции качества Придон Пипия. За это заступничество ему нанесли физическое оскорбление. Но не это главное. За этим эпизодом следуют целые страницы с описанием того, как упорно Придон Пипия борется, чтобы не принять некачественный бетон.

«— Смотрите, как крошится бетон, — и Придон показывает стоящим на блоке осколки бетона, вынутые из воды, — завод виноват.

Встревоженный бригадир смены наклоняется и придвигается к Пипия. Он тоже опускает руки в воду и щупает бетон. Долго щупает. Потом стремительно вскакивает и говорит Пипия:

— Что собираешься делать с нами?

— Бетон нельзя принимать, он целую неделю будет твердеть.

— Неделю ждать, а работу остановить?! — уточняет бригадир.

— Иначе бетон придется ломать..

— Ты что, рехнулся? Ради бога, больше не говори так; погубнем... план погорит, премии тоже потеряем...

— Акт не подпишу, — холодно произнес Пипия и собрался уходить.

— погоди, куда идешь, — засуетился бригадир, — найду начальника участка...

— Кого хочешь находи.. я в диспетчерской буду, — сказал Пипия и спустился по железной лестнице с блока.

Стройка опять взбудоражилась. Пришли руководители. Спорили с Пипия, хотя он честно и добросовестно выполнял свои служебные обязанности.

Наконец, с большим трудом...».

Но какое имеет значение для судьбы Зеснахе и Будзгуриа — принят или нет бетон.

С точки зрения показа строительного процесса все это интересно и, может, даже нужно. Но в какой степени является предметом литературы? В данном случае что дает роману?

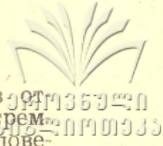
Когда Н. Цулейскири пишет о том, что для него органично, перед нами открывается чарующая картина. Выше мы уже отмечали, что таковыми являются эпизоды, отображающие отношения между Зеснахе и Будзгуриа.

Хочется напомнить еще один эпизод, в котором ярко проявилось авторское, творческое видение явлений. Это — отъезд Зеснахе в Тбилиси и ее пребывание у родственников. Тут автор в своей стихии, и результат тоже отрядный. В тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой главах, где описаны отъезд Зеснахе в Тбилиси и ее отношения с семьей Гуниадзе, нет никакой искусственности. Эту тему Н. Цулейскири неоднократно и успешно разрабатывал в своих рассказах. Прекрасное описание семьи Лефтера Гуниадзе напомнило мне замечательный рассказ Н. Цулейскири «В гостях».

Говоря об этих главах, нельзя не обратить внимания на одно обстоятельство. Семья Гуниадзе — зажиточная, ее глава — человек ловкий. Казалось бы, им свойственно уважать таких же. Но Н. Цулейскири предлагает неожиданное решение. В семье Лефтера Гуниадзе Зеснахе приняла не как бедную родственницу, на которую, как принято думать, подобные люди должны смотреть свысока, а по-настоящему сердечно, от всей души одарив ее подарками.

Пожалуй, такое осмысление плодотворно, ибо не все Гуниадзе одинаково достойны полного осуждения.

Надо полагать, что во второй части романа мы вновь встретимся с семьей Гуниадзе и тогда сможем более глубоко заглянуть в их жизнь. Вполне воз-



можно, что при этом нам откроется много неприятного. Но на этот раз в отношении Зеснахе эта семья проявила душевное благородство. Может, устремления Зеснахе обусловили такое отношение? Гуннадзе поняли девушку, поверили в нее и отнеслись к ней так как она того заслуживает? Но так или иначе в данной ситуации они представлены людьми благородными.

В первой части романа «Зеснахе» мы получили возможность окинуть взором одну из крупнейших строек Грузии, познакомиться с ее людьми, многие из которых с любовью, с чувством глубокой ответственности относятся к этому большому делу. Но немало тут также и других — подобных «Колхозе». Здесь, на ИнгуриГЭС, собрались люди самых разных характеров, взглядов, биографий. Конечно, не каждый из них интересен и потому не на каждом из них писатель мог остановить свое внимание.

Но зато мы близко узнали Зеснахе, ту простую мингрельскую девушку, чьи благородные индивидуальные качества выявило участие в большой стройке.

И теперь, когда мы поверили в нее, познакомились с ней, как с хорошим человеком, писатель встал перед не менее сложной задачей. Как сложится в дальнейшем жизнь Зеснахе и тех людей, которые в дождь и ветер возводят это грандиозное сооружение? Что нового принесет нам вторая книга, что она отвергнет из первой части и что утвердит?

Как знать? Возможно, во второй части писатель совсем другими глазами взглянет на то, что смущало нас в первой книге, в ином художественном качестве представит это.

Обо всем этом мы сможем судить, когда прочитаем вторую часть романа Нодара Цулейскири «Зеснахе». И только когда он будет закончен, станет ясным: остается ли опять мерилем творчества писателя «Тутарчела». А пока хочется пожелать, чтобы и «Зеснахе» сформировалась в произведение, равное по своему значению, по своим художественным достоинствам «Тутарчеле», и явилась, как она, событием в грузинской прозе.

Все это во власти писателя. Пишет он о наших современниках, людях весьма значительных, о событиях очень важных. А литературному творению свойственно самому воздвигать памятник замечательному памятнику нашего времени.

Баски и грузины

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторически существовали две Иберии: одна — восточная, другая — западная.

Древние греческие и римские писатели, ученые, политические деятели называли Восточную Грузию «Иберией», а ее коренным жителям давали следующие названия: «восточные иберы» (Ἰβηρες οἱ ἑσπεροί, или: οἱ ἀνατολιχοί), «восточное племя иберов» (ἑσπερῶν ἕθνος Ἰβηρῶν «азиатские иберы» (οἱ ἐν Ἀσίας Ἰβηρες

Авторы античной эпохи знали и то, что существует также европейская, расположенная на Пиренейском полуострове «Иберия» («Западная Иберия» ἡ δυτικὴ Ἰβηρία «европейские иберы» Ἰβηρες οἱ εὐρωπαϊκοί, а немного позднее пиренейских иберов называли также «испанскими иберами»).

Древние западные иберийцы (иберы) не избежали исторических переломов и со временем переродились. Дошедшие до нас фрагментарные сведения об их языке и этническом происхождении крайне скудны и неполны. Дальним отблеском древнего иберийского мира следует считать современных басков.

Фридрих Энгельс отмечает, что последними представителями древней «иберийской расы» сегодня являются баски.


Баскский язык — единственный древнейший язык неиндоевропейского происхождения в Западной Европе. По структуре языка, реалиям быта, этнографической типологии племя басков совершенно своеобразно и носит отпечаток характерных черт архаической цивилизации.

Баски — отважный и воинственный народ. Их многовековая история полна эпизодами напряженной борьбы за национальную независимость и свободу. В историческом прошлом, в результате всеуничтожающей экспансии Рима, на Пиренейском полуострове рухнула непобедимая Иберия, создавшая так называемую «иберийскую цивилизацию». В этом краю от интенсивной романизации чудом спаслось только племя басков, которое неимоверными усилиями сохранило до наших дней собственный язык и национальную самобытность. Современные варвары — фашисты вновь пытались уничтожить и вычеркнуть из истории непримиримую к их режиму, истекающую кровью, малочисленную народность басков. И все же гордые и непреклонные баски не падают духом и с надеждой смотрят в будущее.

История басков, покрытая тайной, вызывает неослабный интерес у советских и зарубежных ученых.

«Баскология в настоящее время представляет собой проблему мирового значения» (акад. В. Шишмарев).

Более 20 столетий в истории человечества существует идея о родстве западных и восточных иберийцев (грузин).


ИЗДАНИЕ
1973

Предлагаемая работа призвана собрать высказывания по этому предмету.
Это — первая попытка последовательно изложить вышеупомянутую проблему!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДВЕ ИБЕРИИ

1. Восточная Иберия

На той территории, которая в последующее время представляла собой объединенную Грузию, грузины делились на племена с различными названиями. Эти отдельные племена на историческом пути своего развития постепенно объединились и создали свою государственность. Это объединенное государство возглавлялось то одним племенем, то другим, в зависимости от того, которое из них добивалось гегемонии. В соответствии с этим и название государства было различным. В Западной Грузии сперва главенствовали эгры или колхи, и отсюда этот край получил название «Эгриси» или «Колхида». На следующей ступени развития выдвинулись лазы, и вся Западная Грузия получает название «Лазика», и т. д. Так же и в Восточной Грузии древнего периода гегемония принадлежала племени месхов, затем иберам и, наконец, — картлийцам (отсюда — «Картли»)².

Обильные сведения о древнейших грузинских племенах представлены в сочинениях античных авторов — древних греков и римлян.

Еще Гомер в своих поэмах упоминает о племенах, проживавших на территории Грузии, которые установили взаимоотношения с греками. Так, например, Гомеру были известны проживавшие в Малой Азии и участвовавшие в Троянской войне картвельские (грузинские) племена — халибы, халидзоны и др. Гомер знаком также со сказанием о походе аргонавтов: как известно, особую роль в приключениях Одиссея играет колхидская царица Киркея, во дворце которой гостил Одиссей со своими друзьями. В описании дворца Киркеи приводятся такие характерные особенности, что не остается никаких сомнений: Киркея — не гречанка. Для приключений Одиссея встреча с этим персонажем на земле, находившейся на далеком побережье Черного моря, вовсе не была необходимой. Киркея — сестра колхидского царя Аэта, и поэтому сама проживает где-то неподалеку от Колхиды. Поскольку Гомер внес эпизод с Киркеей в свою поэму, можно заключить, что сказание о Колхиде с его увлекательной фабулой пользовалось популярностью среди греков³. В сказании об аргонавтах, возникшем на реальной исторической основе, представлены эпохи, довольно удаленные друг от друга, но ведущим мотивом всех настроений и версий этого сказания всегда была Ая — Колхида⁴. Именно это и подтверждают указания гомеровского эпоса. В древневосточных памятниках II и I тысячелетий до н. э. засвидетельствовано существование крупного объединения колхидских племен на юго-восточном побережье Черного моря. В сказании об аргонавтах было показано величие и сила именно такого, реально существующего колхидского объединения.

В гомеровской «Илиаде» упоминаются и халибы, которые были известны как металлурги, кузнецы и рудокопы. Аполлоний Родосский (III в. до н. э.) говорит: «Халибы и землю не обрабатывают с помощью волов, и не занимаются разведением фруктовых деревьев, дающих сладкие плоды, и не пасут стада на полях, покрытых росой. Они роют богатую железом, но трудно обрабатываемую землю и добытую руду обменивают на продовольствие». По сведениям

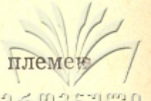
¹ Баскологическая проблематика интересует нас с 1931 г., когда мы эпизодически изучали баскский язык в аспирантуре при Академии наук СССР (Ленинград) по индивидуальному аспирантскому плану под руководством проф. С. Быховской; время от времени нас консультировал акад. Н. Марр.

Еще в 1937 г. мы опубликовали статью, озаглавленную «Грузия и испанская Иберия» (журн. «Мнатоби» № 3). О баско-грузинской гипотезе говорится и в наших книгах: «Лингвистические беседы» (Тбилиси, 1960), «Грузинский язык. Краткий очерк» (Тбилиси, на русском яз., 1968), «The Georgian Language. Short Review» (Тбилиси, 1969), «La Langue Géorgienne» (г. Галле, ГДР, 1973), «Литературно-лингвистические очерки» (Тбилиси, 1974).

² Э. Такаишвили, Когда государство иберов сменилось государством картвелей. Журн. «Мнатоби» № 8, 1948.

³ С. Каухчишвили, Что рассказывают древние греки о Грузии, Тб., 1964, с. 9 (на грузинском языке). Мы не станем здесь продолжать рассуждения на тему о том, какие масштабы получило сказание об аргонавтах в последующие века.

⁴ А. Урушадзе, Древняя Колхида в сказании об аргонавтах, Тб., 1964, с. 7 (на грузинском языке).



Геродота (V в. до н. э.) халибы выделялись среди других грузинских племен тем, что носили железные шлемы.

Во всем античном мире халибы снискали себе славу лучших мастеров плавки и литья железа и изобретателей стали (напр., по сведению Виргилия «Халибы — племя в Понте, которое открыло железо»)¹.

Слава древнейших грузинских племен — табалов и мусков, как искусных рудокопов и металлургов, дошла и до евреев. Автор первой книги «Библии» уверен, что кузнечное ремесло изобретено табалами.

Греки того времени, как видно, прежде всего были знакомы с племенными объединениями Западной Грузии. Это — те племена, которые были расселены главным образом по побережью Черного моря.

В Греции с VII в. до н. э. была заложена основа исторической письменности. Первоначально возникают логографы («сочинители повестей»), в сочинениях которых встречаются важные сведения о грузинских племенах. Например, у Гекатеоса Милетского (VI в. до н. э.) в «описании мира» (которое дошло до нас в виде фрагментов), упоминаются колы, мосхи (как племя колхов), макроны (ныне их пишет историк, называют саннами), мары (которые, по словам автора, соседствуют с моссиниками), халибы и др. Логографы знакомы также с макронами (мегрелы) и с чанами (которые должны представлять разновидность сннов).

Первым греческим историком, упомянувшим грузинские племена, был Геродот («отец истории», деятельность которого протекала в 484—425 гг. до н. э.). Предполагают, что он побывал и в Колхиде. Обширные и очень интересные сведения о грузинских племенах — таохах, моссиниках, макронах и др. сохранились в «Анабасисе» Ксенофонта (первая половина IV в. до н. э.).

Обильные сведения по интересующему нас предмету содержатся в трудах греческих историков последующих веков.

Теперь об Иберии и иберийцах.

По данным греко-римских источников, Восточную Грузию называли Иберией, а ее жителей — иберийцами.

В греческих источниках Иберию и иберийцев впервые упоминают философы Платон и Аристотель.

Платон упоминает иберийцев среди тех «воинственных народов», которые пьют неразбавленное водой вино; а Аристотель говорит, что «воинственные иберийцы вокруг могилы погибшего вбивают столько кольев, сколько у покойника на счету убитых врагов». Выдающийся русский исследователь академик Латышев считал, что здесь подразумеваются именно кавказские иберийцы (т. е. грузины), а не пиренейские. Значение этих сведений состоит в том, что, помимо древнейшего упоминания племенного названия племени в древнейших исторических формах, они содержат и определенные этнографические данные.

Если мы согласимся с академиком Латышевым и допустим, что в вышеупомянутых сведениях Платона и Аристотеля имеются в виду западные иберийцы, а не грузины, все же несомненно, что в информации, сохраненной греческим писателем Аполлодором (III в. до н. э.), подразумеваются именно кавказские иберы. Сохранилось сведение об этом и у Страбона. Вот оно: «Западные иберы переселились в места, расположенные выше Понта и Колхиды, которые, по словам Аполлодора, отделены от Армении рекой Аракс». Отсюда становится ясно и то, что во II в. до н. э. территория иберов простиралась гораздо дальше (до р. Аракс), чем в I в.

В известном сочинении географа I в. Страбона часто упоминаются и характеризуются страна Иберия и ее народ. Известный греческий географ и историк хорошо знаком как с Восточной, так и с Западной Грузией.

У Страбона границы Колхиды и Иберии определены следующим образом:

¹ М. Бланкенгорн (M. Blanckenhorn) выдвинул положение о том, что обработка железа должна была начаться в начале III тысячелетия до н. э. и что такое открытие независимо друг от друга должно было произойти в нескольких местах земного шара. По его мнению, в Малой Азии железо открыли картвельские племена — халибы и табалы. По словам акад. И. Джавахишвили, «эти картвельские племена добывали руду и изготавливали посуду и орудия не только для себя, но и возили на продажу в такие далекие страны, как Тирос. Наряду с промышленностью, таким образом, был распространен и развит товарообмен. Медные и железные изделия халибов и табалов славились и в Греции. Там даже ходили слухи, что моссиники добавляют к руде какую-то землю, и потому она получается такой хорошей... Несомненно, что картвельским племенам принадлежат почетные заслуги перед всем человечеством в разработке рудных месторождений» (История грузинского народа, Тб., 1960, с. 24). См. также Д. Хахутаишвили, К вопросу о первичных центрах возникновения и развития металлургии железа, Юбилейный сборник, посвященный столетию со дня рождения И. Джавахишвили, Тб., 1976 (изд. «Мецниереба»).

Колхида: находится между Гирканским и Эвксинским морями, т. е. между Каспийским и Черным морями. Западная граница — Черное море — бережье Колхиды простирается от Пицунды до Трапезунда. На юге Колхидой граничат Понтийское царство и Армения, а на востоке — Иберия. Севернее поселены гениохи, сваны — картвельские племена Западной Грузии.

Иберия: расположена к востоку от Колхиды и южнее Кавказского хребта, т. е. ее границами являются: на западе — Колхида, на севере — Кавказский хребет, на востоке — Албания, а на юге — реки Аракс и Кура. Мосхские (Месхетские) горы отделяют ее от Армении.

«В Иберию ведут четыре дороги, — говорит Страбон, — одна — через колхскую крепость Шорапани и примыкающие к ней теснины, по которым протекает Фазис — быстрый и шумный, устремленный в Колхиду. Во время наводнений эти места испещрены многочисленными ручьями... Таков въезд из Колхиды в Иберию, загроможденный скалами, укреплениями и реками в ущельях. От кочевых племен с севера ведет тяжелый подъем, приблизительно в три дня пути, после чего идет тропинка в узком ущелье р. Арагос, приблизительно в четыре дня пути, а конец дороги укреплен труднодоступной стеной. Въезд из Албании вначале прорезан в стенах, а затем переходит на болото, образованное рекой Алазаниос, вытекающей из Кавказского хребта. Из Армении — въезд по теснинам рек Куры и Арагоса прежде чем эти реки сольются, в том месте находятся укрепленные города на скалах, которые отдалены друг от друга приблизительно на 16 эталонов¹.

Из отмеченных Страбонам границ в первую очередь следует отметить границу между Колхидой и Иберией. Когда Страбон говорит, что путь, ведущий в Иберию с запада, проходит через Шорапани, это означает, что во времена Страбона Иберия включала в себя не только территорию, известную в последующие века, — от Албании до Сурамского хребта, — но и достигала на западе той линии, которую защищали Шорапани и Скандэ — крепости, существовавшие в тех ущельях. Это и не удивительно, — говорит академик С. Каухчишвили, — не только во время Страбона, а и позднее, например, в VI в. н. э., историк Прокопий Кесарийский считает западной границей Иберии ту линию, которую стерегут Шорапани и Скандэ. Не только по греческим источникам, но и по грузинским источникам того времени Иберию и Колхиду разграничивала линия Шорапани — Скандэ. Так что историческая Картли в I—VII вв. простиралась не только до Сурамского хребта, но и до Шорапани².

Во времена Страбона в Иберийский ареал входили и юго-западные области: Джавахети, Самцхе, Кола-Артаани, Аджария и Кларджети. Такие же границы Иберии указаны в сочинении историка X в. Константина Порфирородного.

Страбон говорит, что «Иберия большей частью хорошо населена городами и поселками, так что там есть черепичные крыши, дома построены архитектурно, имеются базары и др. учреждения».

Интересно, что, по Страбону, Иберия делилась на две части: долинную и горную. «В долине живут наиболее земледельческие племена из иберов; они настроены миролюбиво... Более крупную часть, которая настроена воинственно, занимает горный край и живет подобно скифам и сарматам, чьими родственниками и соседями они являются: хотя они и занимаются сельским хозяйством, но, когда начинается смута, на свои и их (т. е. скифов и сарматов) средства выставляют много тысяч воинов».

Исключительно интересна также даваемая Страбонам характеристика социального строя иберов, по которой из живущих в этой стране людей — «один (род), и первый, из которого выбирают царей по близости и возрасту старшего, а второй (из этого рода) — судействует. Второй (род) — жрецов, которые также заботятся о справедливости по отношению к соседям. Третий (род) — люди из народа, которые являются царскими рабами и делают все, что необходимо для жизни. По характеру родственных связей имущество у них общее по родству. Правит и руководит каждым родом старейшина. Таковы иберы и их страна».

Самым стойким из грузинских государств античной эпохи с течением времени оказалось Восточно-Картлийское (Иберийское) царство. Консолидация грузинских племен в Иберии — Картли заложила основу быстро развивавшийся процесс формирования единого грузинского языка и единой культуры. Раньше здесь письменными языками служили иностранные (арамейский и греческий), а затем их место занял грузинский язык.

Согласно грузинской национальной традиции, грузинская письменность была разработана в период формирования Иберийского царства (III в. до н. э.).

¹ С. Каухчишвили. География Страбона. Сведения о Грузии. Тб., 1957, с. 128—129 (на грузинском языке).

² Там же, с. 37.

1933

во время правления царя Фарнаваза. Ведь в «Картлис цховреба» сказано, что Фарнаваз «создал грузинскую письменность». Следует отметить, что в одной из древних книг, в которых перечисляются народы Азии и Европы, имеющие собственную письменность, мы читаем: «...а собственную письменность имеют каптадокийцы, и беры, называемые также тирранийцами, латиняне, [письмом] которых пользуются и римляне, сарматы, испанцы, скифы, эллины, бастарны, мидийцы, армяне». Акад. С. Каухчишвили полагает, что здесь безусловно подразумеваются иберы Грузии, а не Испании¹.

Как мы знаем, греко-романские историки и вообще иностранные летописцы и писатели признают на территории Восточной Грузии только государство иберов и упоминают только царей Иберии, тогда как Картлийское государство, называния «Картли» и «Сакартвело» им неизвестны. С другой стороны, в сочинениях грузинских или картлийских историков слово «Иберия» (или «иберы») не упоминается.

Чем должно объясняться это обстоятельство?

Высказано предположение о том, что так же, как Западная Грузия в разные времена была известна под разными названиями (Эгриси, Колхида, Лазика), и Восточная Грузия до распространения термина «Картли» называлась Иберией. Иначе говоря, до установления господства племени картвов гегемоном в Восточной Грузии было племя иберов. Отсюда вытекает, что термины Иберия и Картли (соответственно иберы и карты, гесп, картлийцы) мы должны считать не синонимами, а названиями разных грузинских племен.

Этой проблеме в 1948 г. акад. Э. Такаишвили посвятил специальную статью².

Еще раньше, однако, данную точку зрения разделял академик Николай Яковлевич Марр.

Н. Марр в 1929 г. опубликовал на немецком языке статью под названием «Грузинский язык» (написанную в 1928 г.), в которой совершенно категорично высказано вышеуказанное мнение³. Н. Я. Марр говорит, что господство иберов длилось до первых дней пропаганды христианства в Грузии. По его мнению, в это время иберы пользовались грузинским алфавитом, который генетически был связан с семитской системой письма, и гласные в письме еще не использовались.

Н. Марр говорит в этой работе и о связи грузинского алфавита с арамейским, но указывает, что литературная продукция этого периода не сохранилась до наших дней. «С возвышением картвов в Грузии между древней литературой и господствующим картским или картвельским классом, — говорит Н. Марр, — образовалась пропасть, полная ликвидация которой оказалась невозможной, и картвелы создали из своего собственного языка новый для того времени литературный язык». «Язык иберский, — продолжает Марр, — переживший в грузинском древнеписьменном языке, отнюдь не был примитивом. Формально в нем усматривается скрещение спирантного с шипящим, ныне лучше всего представленное, как тип, сванским языком».

Марр подчеркивает то обстоятельство, что «национальная литература грузин иберийского периода» должна быть распознана в памятниках устной народной словесности, с одной стороны, и в структуре древнегрузинского литературного языка — с другой стороны. «И если кто действительно интересуется национальной литературой грузин иберского периода и местной в Грузии речевой культурой, то продукция этого иберского периода, будь она даже лишь устной, не могла уйти, когда час пробил, от роли бы единственным фондом для формации древнелитературного языка, создания христианских общин для ее развития в национальных путях».

Академик Э. Такаишвили отмечает, что название «Иберия» сохранилось за Восточной Грузией, по мнению иностранцев, и позднее, когда вместо иберов стали господствовать карты, создавшие Картлийское царство. С иностранной точки зрения, не только Восточная Грузия, но и позднее объединенное государство грузинских племен, так называемое Сакартвело, было известно под названием Иберия⁴.

Когда утвердили карты свое господство в Восточной Грузии?

¹ С. Каухчишвили. География Страбона, с. 118.

² Э. Такаишвили. Когда Иберийское государство сменилось Картлийским? «Мнатоби», 1948, № 8 (на грузинском языке).

³ N. Marr, Die Georgische Sprache, журн. «Das Neue Russland», 5—6, 1929. На русском языке работа опубликована в 1949 г. Академик Н. Я. Марр. «Грузинский язык», Сталинири, 1949 г.

⁴ Концепцию о различии Картли и Иберии, на основе археологических данных, разделяет также Теймураз Микеладзе: «К вопросу о взаимосвязи картвов и иберов» (Всесоюзная научная конференция. Античные, византийские и местные традиции в странах Восточного Черноморья. Май, 1975, Тезисы докладов. Тбилиси).

По мнению И. Джавахишвили, это должно было произойти во II—III веках н. э. Э. Такашвили же полагает, что утверждение картвов (или картлийцев) в Восточной Грузии не должно было произойти до VI века.

В конце первой четверти VI века государство иберов разгромили персы. Последний царь иберов Гурген в 523 г. с семьей и большой свитой переселился в Византию. После этого, под воздействием политики персов и при их сознательной помощи, власть взяли в свои руки картлийские азнауры или эриставы. Отсюда начинается картлийский период истории грузинского народа, — заключает акад. Э. Такашвили. «Это мнение, разумеется, многим покажется слишком сомнительным, — продолжает автор, — ... ведь вся история грузинского народа рассказывает о царях Картли, о принятии христианства в Картли, о письменности Картли. Мы имеем «Мокцевай картлисай», «Картлис цховреба», «Матианэ картлисай», «картули дамцерлоба», а не «иберта мокцева», «иберта цховреба», «иберта литература» и др. Все это правда, но дело в том, что вся дошедшая до нас литература принадлежит к картвельскому периоду истории. Карты, разумеется, были поданными Иберского государства, участвовали в истории и культуре иберов. У них была одна и та же языческая вера. Вместе приняли они христианство, но когда в начале V века была заложена основа христианской литературы, она возникла на господствующем иберском наречии. Когда же во главе государства вместо иберцев оказались карты, или картвельцы, они постепенно переработали литературу иберов, в результате чего картвельское наречие стало литературным языком грузинского народа».

Только за последнее время исследователями были выявлены остатки христианской литературы иберского периода. Мы имеем в виду небольшое число так называемых «ханметных» текстов, обнаруженных И. Джавахишвили¹.

Э. Такашвили отметил, что иберы и карты по языку стояли друг к другу ближе, чем, например, лазы и мегрелы, но между ними все же существовали диалектальные различия. Речь иберов получила название «иберийского говора»; большая часть грузинской литературы возникла и сформировалась на так называемом «ханметном» говоре, а после утверждения господства картвов она перешла на «хаэметный» говор². Этот процесс продолжался почти три века — с IX века установилось господство картлийского «хаэметного» говора, и грузинская письменность и литература стали развиваться на основе этого диалекта.

Нельзя не считаться со следующим обстоятельством: грузинские летописцы не употребляют терминов «Иберия», «иберы», тогда как они хорошо знают, что в греческих источниках господствуют эти названия. Грузинские историки сознательно обходят эти термины и упоминают только и только Картли, которая обозначает мир победившей этнической единицы.

Об этническом различии иберов и картвов говорят и другие ученые (проф. С. Какабадзе, акад. К. Кекелидзе). Как бы мы ни представляли себе взаимоотношение этнонимов «иберы» и «карты», и соответственно — «Иберия» и «Картли», ясно, что и после формирования Картлийского царства греко-римские авторы снова и снова упоминают Восточную Грузию под названием «Иберия». Даже звание «питиахш Картли» переводилось на греческий как «питакэс иберон» (на армянский «бдэшх врац»).

В науке существует гипотеза, по которой этноним «иберы» в глубоком историческом прошлом проник из Западной Грузии.

Н. Марр предполагал, что в раннюю эпоху, до того, как иберы, жившие на побережьях Куры, достигли политической власти, иверами—иберами назывались племена Западной Грузии, главным образом мингрелы³. Затем греки перенесли это название на одно из племен Восточной Грузии, — такова точка зрения Н. Марра.

В 1902 г. на Синайской горе Н. Марр обнаружил текст арабской версии описания деятельности святого Григория, которую с приложением перевода и обширного исследования опубликовал в 1906 г. Здесь, между прочим, говорится о грузинских (картских) племенах Западной Грузии. Так, в одном месте мы читаем: «Взял он (святой Григорий) одного грузина из тех, кто пришел с ним из Свестии, по имени Ибир-б-з-куа, сделал его митрополитом и отправил с тем, чтобы он ставил епископов над всей Грузией. Он был прекрасен образом жизни, благочестив, сведущ в церковных книгах»⁴.

¹ Журн. «Мнатоби» № 4, 1948, с. 90 (на грузинском языке).

² Терминами «ханметный» и «хаэметный» принято обозначать излишнее (с современной точки зрения) употребление букв б (хан) и з (хаэ) как глагольных суффиксов.

³ Монография Иорд. Кипшидзе называется «Грамматика мингрельского (иверского) языка», 1914 г., Петербург. Под редакцией Н. Марра.

⁴ Н. Марр. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Григорием (Арабская версия). «Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества», том XVI, вып. IV, 1906, с. 137.

В связи с этим Н. Марр говорит: «По всей вероятности, и основа Ибирского местного происхождения. Укажу на одно возможное его объяснение. В арабском тексте форма основы собственно ع-ب-ز-ب (إبر) что можно без всякого насилия прочитать e-i-b-yi-z-eb , т. е. слово ивер, resp. ибер с местным окончанием мн. числа eb , resp. ep , так как в арабском нет точного начертания для звука p . Окончание это звучит теперь в лазском ep-e , в минго — ивер. из) и в картв.-груз. eb . При таком толковании имя Ибир-б-зхуа, resp. Иверб-зхуа значило бы «Иверов сын», т. е. ивер, и действительно, в самой арабской версии сообщается, что этот митрополит был جرجاني грузин, resp. ибер».

Н. Марр заключает: «Следовательно, выясняется, что под иверами в местном этнографическом значении этого термина надлежало бы понимать не восточных грузин, а западных, точнее средних, т. е. второй за приморскими лазами ряд грузинских племен, примыкавших непосредственно к лазам и расположенных по внутренней полосе Кавказа кривою линиею от Спера до Свани (Сванетии), следовательно, со включением доброй части, если не всей нынешней Мингрелии. Значительную часть этого братского иверского края восточные грузины, картвелы, успели претворить в себя по языку, приобщив ее всю к картвельской христианской культуре, ставшей теперь с давних, преданных пор общегрузинскою национальною»¹.

Н. Марр признал, что поселение иверов в Западной Грузии подтверждается этнологическими и топонимическими данными, а также сведениями иностранных источников. Он ссылаясь на Плиния (77 г. н. э.): «В этих местах (древний Афсар — современное Гонио в устье в. Чорохи) за горами находится Иберия».

А вот предположение И. Джавахишвили: «Конечно, в долине (имеется в виду Восточная Грузия), помимо других, должны были находиться три главнейших племена: кахи, картлийцы, язык которых впоследствии стал общелингвистическим для всех грузинских племен, и иберы, по племенному названию которых в I в. до н. э. именовалась вся страна. Мы знаем, что иберы или имеретины принадлежали к мегрельско-лазской ветви, но в дальнейшем... какое-то продолжение из Картли племя заставило их усвоить свой язык. Конечно, — продолжает автор, — иберы или имеретины должны были жить среди мегрелов и картов. Как раз этому иберскому племени принадлежало преимущество в I в. до н. э. и после; оно дало свое название всей стране; возможно только, что эти иберы в то время не были окартленными.

Затем усилились картвелы и возглавили письменность и жизнь всех братских племен»².

На состоявшейся в 1960 г. в Ереване Третьей объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджанского и Ереванского университетов С. Каухчишвили прочитал доклад о существовании иберского владения на побережье Черного моря. Тезисы доклада были опубликованы в материалах сессии, а затем помещены в «Георгике»³.

С. Каухчишвили обратил внимание на то обстоятельство, что в биографии известного мыслителя и писателя IV века Эвагри Понтийского отмечено, что Эвагри по происхождению — житель понтийско-иберского города. После Палладия историки V века также отмечают, что Эвагри — ибериец.

Вместе с тем средневековые филологи Валезиус (Vaiosis) и Гэлан (Gailland) усомнились в этом сообщении и, вынуждены были внести в текст поправку: слово Iberem они заменили на Iberem . Получилось, что Эвагри принадлежал не к иберийскому племени, а был коренным жителем города Ибори, разрушенного в 525 г. н. э. в результате землетрясения.

С. Каухчишвили же говорит, что эта конъектура лишена всякой основы: город Ибор входил в состав третьей Каппадокии, и конечно, совершенно невозможно, чтобы он находился на побережье Черного моря. В то же время исследователь ссылается и на других авторов, которые упоминают иберское племя наряду с западногрузинскими племенами (на побережье Черного моря). Эти авторы: Плиний VI и Епифаний (на Плиния ссылается, как было указано выше, и Марр).

С. Каухчишвили заключает: «Совершенно ошибочно существовавшая до наших дней теория об этническом составе Западной Грузии, а именно — что Западная Грузия была заселена не мегрело-чанскими племенами, но и иберами».

¹ Н. Марр. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Григорием (Арабская версия)... с. 170.

² И. Джавахишвили. История грузинского народа, кн. 1—2, 1913, с. 60—61 (на грузинском языке).

³ Третья объединенная научная сессия Тбилисского, Азербайджанского и Ереванского университетов, посвященная 40-летию установления Советской власти в Армении. Тезисы докладов. Ереван, 1960, с. 96—97.

Как известно, — продолжает автор, — существовали две Иберии: одна в Закавказье, а другая — в Испании. Чтобы рассказ об обращении иберийцев в христианство не показался греческим и римским читателям рассказом об обращении испанских иберийцев, обоим авторам надо было как-нибудь кратко охарактеризовать и отметить географическое положение этой Иберии. Именно поэтому Геласий Кесарийский написал: «живущие на землях вдоль Понта иберы и лазы», а Руфинус отметил: «племя иберов, которое живет в Понтийском крае». Этого было вполне достаточно, чтобы их читатель понял, что автор ведет речь об обращении в христианство кавказских иберийцев. Ни Геласий Кесарийский, ни Руфинус не были обязаны отмечать границы Иберии, поскольку это не имело принципиального значения ни для содержания их исторических трудов, ни для их читателей. Мнение о том, что при характеристике населения Иберии греческих и римских историков интересовало местоположение этой Иберии, а не сами иберы, подтверждает и использованное высказывание Сократа. У него, в частности, отмечено, что «эти иберы, живущие у Понтийского моря, переселились от испанских иберов»¹.

С проблемой иберов Восточной Грузии внутренне связан вопрос этнического ареала одного из грузинских племен — месхов.

На рубеже II—I тысячелетий до н. э., судя по древневосточным источникам, на исторической арене появились мушки (мосхи, месхи), которых считают грузинами по происхождению (мосхи упоминаются в истории Геродота и у последующих греческих авторов). Название «месхи» совершенно органично связано с грузинским миром. Еще в сочинении автора конца VI в. до н. э. Гекатеоса Милетского говорится, что «мосхи представляют собой колхидское племя и живут по соседству с матианами». («Описание земли», фрагмент 188)². По географии Страбона (XI, 2, 17—18), страна месхов является неотделимой частью Колхиды как географически, так и с исторической точки зрения.

Существует целый ряд других оснований утверждать, что обитавшее в юго-западной части Грузии племя месхов действительно исторически является грузинской этнической единицей колхидского ответвления. Показателем этого могут служить географические названия — топонимы, а также археологические данные. Известно, что когда не сохраняются исторические сведения о том или ином народе, внимание исследователя привлекают географические названия и памятники материальной культуры, являющиеся безошибочным свидетельством для познания исторических процессов и восстановления древнейшей этнической картины.

На территории Месхети ясно видны следы топонимов колхидского (мегрело-чанского) происхождения. Выясняется, что в этом крае колхидские топонимы должны были распространиться не ранее VI—IV вв. до н. э. Это — возможная верхняя хронологическая граница распространения мегрело-чанских топонимов. Значительно сложнее определить период появления колхидских топонимов в этом районе. Однако, если судить по этнонимам, исторические тексты подтверждают название мегрело-чанских племен на юго-восточном побережье Черного моря и частично юго-западных грузинских племен середины II тысячелетия до н. э., т. е. с тех пор, когда в отмеченных районах появляются древнейшие образцы колхидской бронзы или соответствующая им колхидская керамика первого этапа древнего периода³. Об этом свидетельствуют и лингвистические данные. Нижней хронологической границей распространения колхидских топонимов следует считать VI—IV вв. до н. э., т. к. именно с этого времени ясно виден процесс картизации Месхети и расширение связей этого края с миром Иберии. В Месхети много топонимов колхидского происхождения.

¹ И. Джавахишвили. История грузинской нации. I, 1960, с. 26 (на грузинском языке).

² Подробно см. Г. Меликишвили. К истории древней Грузии. 1959, с. 104 — 113.

³ Т. Микеладзе. Разыскания из истории древнейшего населения Колхиды и юго-восточного побережья Черного моря. 1974, с. 74 (на грузинском языке)

Продолжение следует

«ПТИЦА РАЗДУМЬЯ»

ЗНАТОКОВ и ценителей грузинской поэзии в творчестве Мориса Поцхишвили привлекают публицистичность решений, бескомпромиссность выводов, острота поэтического видения. Лирический герой стихотворений этого поэта всегда выступает борцом за правду и добро, против фальши и мещанского благополучия, что также вызывает живой отклик в сердцах читателей.

Все эти качества, присущие лучшим стихам Мориса Поцхишвили, характер-

ны и для его нового поэтического сборника, выпущенного издательством «Мерани» под образным заглавием «Птица раздумья». Переводы напечатанных в ней стихов осуществлены Михаилом Синельниковым Владимиром Луговым, Юрием Ряшенцевым, Еленой Николаевской и другими.

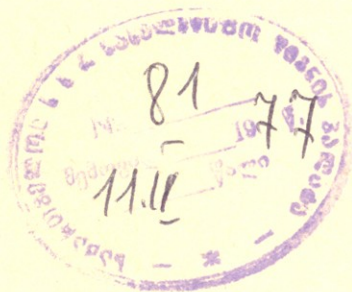
Характерная деталь: художественное оформление книги выполнено самим автором. А ведь далеко не все знают, что изобразительное искусство — второе призвание Мориса Поцхишвили.

«ИХ ОДНИМ ЧЕКАНИЛИ ЧЕКАНОМ»

ЭТОЙ строкой из популярного стихотворения Георгия Леонидзе озаглавил свою книгу, подготовленную издательством «Мерани», Эдуард Елигулашвили. В нее вошли критические статьи разных лет. Однако, как подчеркивает сам автор в предисловии, «думается... они могут восприниматься как некоторая цельность. В чем мне видится эта цельность? Прежде всего в

проблематике, охватывающей различные стороны межнациональных литературных отношений».

Сборник состоит из двух частей — «Переводные картинки» и «Органический сплав». Первая посвящена анализу поэтических переводов и общим вопросам переводческого искусства. Во второй части рассмотрены вопросы национальной специфики литературы.



«Сдано в набор 30 ноября 1976 года. Подписано к печати 28 января 1977 года, 6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70×108¹/₁₆».

Заказ № 4002

Тираж 6 950

УЭ 01527

26-1987

77-81
საქართველოს
ბიბლიოთეკა

Цвета 40 коп.

ИНДЕКС
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა